

Слепец в Газе, на мельнице
среди рабов.

Дж. Мильтон. «Самсон-борец»

Глава 1

30 августа 1933 г.

Снимки стали такими же тусклыми, как и воспоминания. Самое начало нового века. В саду стоит молодая женщина, похожая на призрак, который вот-вот исчезнет с первым криком петуха. «Моя мать», — подумал Энтони Бивис. Год или два, а может быть, месяц или два до того, как она умерла. «Но какова прическа», — думал он, вглядываясь в бурый призрачный туман фотографического отпечатка, она похожа на фигурно подстриженные кусты. Эти кривые, словно лебединая шея, бедра! Эти поникшие, опущенные вниз продолговатые груди, глядя на которые было совершенно невозможно представить их на обнаженном теле! А эти волосы! Прическа напоминала узорчатый куст, придававший черепу нелепую, прямо-таки уродливую форму! Каким до странности отвратительным и отталкивающим казалось все это теперь, в тридцать третьем году. И все же, все же, стоило ему закрыть глаза (он просто не мог этого не сделать), как перед его внутренним взором возникал образ матери: вот она с видом томной красавицы сидит в своем любимом шезлонге; вот, проявляя необыкновенную живость, играет в теннис или скользит на коньках по льду давней-давней зимой.

То же самое можно было сказать и о фотографиях Мери Эмберли, сделанных десять лет спустя. Та же длинная юбка, узкий клеш которой

скрывал нижние конечности — казалось, что безногая женщина скользит по траве на роликах. Правда, надо признать, что груди были немного приподняты, а мощный зад сильно обтянут, однако общая форма тела была до странности нелепой. Краб, оплетенный китовым усом. А этот писк моды одиннадцатого года — огромная шляпа с перьями — ну ни дать ни взять сцена французских похорон первого разряда! Неужели мог найтись мужчина в здравом рассудке, способный увлечься этим антиподом Афродиты? И все же снимки врут — Энтони хорошо помнил Мери — она была живым воплощением страстно желанной женственности. Даже теперь при одном взгляде на этого украшенного перьями краба на колесиках у Энтони сильно забилося сердце и перехватило дыхание.

Прошло двадцать, затем тридцать лет после того события, и снимки вынесли на поверхность лишь далекое и неведомое. Но неведомое (печальная закономерность!) всегда граничит с нелепостью. Напротив, все, что ему удалось вспомнить, было чувством, испытанным в то время, когда неизвестное казалось известным, когда бред, воспринимаемый как должное, не кажется такой нелепицей. Трагические воспоминания всегда похожи на Гамлета в современном наряде.

Как прекрасна была его мать — прекрасна, невзирая на нелепые завитки волос, выступающий зад и отвислую грудь. А Мери! Да она же способна свести с ума в своем черепашьем панцире и траурных перьях! Да вот и он собственной персоной: в светло-бежевом коверкотовом пальто и ярко-красном шотландском берете, или в зеленой бархатной куртке с манжетами; или в школьной форме — бриджах с кожаными крагами; или в котелке и накрахмаленной манишке

(это воскресный наряд), в будни на голове маленького Энтони красовалась черная школь-

ная фуражка с красным околышем — даже он сам, вспоминая себя в те годы, видел этого мальчика только в современной одежде, но никак не в уродливых одеяниях, изображенных на фотографиях. И все же внутреннее чувство подсказывало, что и в тех нарядах он тогда выглядел не хуже, чем мальчики тридцатых годов в своих вязаных свитерах и шортах. Это доказательство, отчужденно подумал Энтони, разглядывая итонскую фотографию, на которой он был изображен со спины в цилиндре и фраке, доказательство того, что прогресс можно лишь выразить словами, но нельзя прочувствовать. Он достал записную книжку, открыл ее и записал: «Прогресс, вероятно, ощущается историками, но его никогда не чувствуют те, кто его в действительности переживает. Для молодых прогресс — естественная среда обитания, а старики через несколько месяцев или лет начинают воспринимать новшества как нечто само собой разумеющееся — они тоже перестают ощущать новшества в качестве таковых. Никто не испытывает по их поводу признательности, только раздражение, если по тем или иным причинам прогресс дает сбой. Люди не благодарят Бога за автомобиль; они лишь ругаются, когда отказывает карбюратор».

Он закрыл записную книжку и вновь принялся созерцать старомодный цилиндр.

Послышался звук шагов, и Энтони поднял глаза. Элен Ледвидж решительной подпрыгивающей походкой шла по террасе к дому. Ярко-красный пляжный костюм отбрасывал огненный отсвет на прикрытое широкими полями шляпы лицо женщины, придавая ему нечто inferнальное, словно Элен находилась в аду. Немного поразмыслив, Энтони решил, что это действительно так. Сознание — вот истинное место преисподней, и, следовательно, Элен

постоянно носит с собой свой ад — ад нелепого замужества, и, возможно, не его одного. Но Энтони всегда воздерживался от того, чтобы слишком пристально вникать в природу этого ада, притворяясь, что ничего не замечает даже тогда, когда Элен сама предлагала себя на роль Вергилия своего чистилища. Такое дознание приведет лишь к всплеску эмоций и осознанию ответственности, а у него нет ни времени, ни сил на эмоции и ответственность. Работа прежде всего. Подавляя любопытство, он упрямо продолжал играть роль, которую давно для себя выбрал, — роль Диогена, отстраненного философа, фанатика от науки, который не видит вещей, очевидных для каждого нормального человека. Он вел себя так, словно в лице Элен не было ничего, кроме внешней красоты и отличной кожи. Однако, конечно, нельзя отрицать, что плоть не бывает совершенно непроницаемой; душа всегда прорывается сквозь стены своего обиталища. Эти ясные серые глаза, этот рот со слегка вздернутой верхней губой бывали жесткими и временами почти безобразными, когда выражали печаль и обиду.

Отблеск дьявольского пламени погас, как только Элен вошла с яркого солнечного света в тень дома, но внезапно ставшее бледным лицо все равно несло на себе явный отпечаток горькой меланхолии. Энтони взглянул на нее, но не поднялся с места и даже не счел нужным поздороваться. Между ними существовал уговор — никаких внешних проявлений чувств, никакой сентиментальности. Никакой, даже той, которая нужна для того, чтобы просто сказать: «С добрым утром». Когда Элен вошла в кабинет через открытую стеклянную дверь, Энтони вновь погрузился в рассматривание фотографий.

8 — Вот и я, — произнесла она без улыбки. Она сняла шляпу и красивым нетерпеливым дви-

жением головы отбросила назад рыжеватые локоны. — Отвратительная жара! — Она швырнула шляпу на диван и подошла к письменному столу, за которым сидел Энтони.

— Не работается? — спросила она с удивлением. Энтони редко можно было увидеть не зарывшимся в книги и бумаги.

Он покачал головой.

— Давай сегодня обойдемся без социологии.

— Что ты так внимательно разглядываешь? — Подойдя сзади к его креслу, она склонилась над разбросанными по столу фотографиями.

— Свой собственный труп. — Он протянул ей фотографию призрака давно не существующего итонца.

Несколько мгновений Элен молча рассматривала снимок.

— Ты был в то время очень мил, — заметила она.

— *Mersi, mon vieux!** — С преувеличенной фамильярностью он похлопал ее по заду. — В Итоне у меня было прозвище Вениамин, сын Рахили¹. — Кончиками пальцев Энтони чувствовал округлость упругой плоти, хотя сухой, скользкий и невероятно гладкий шелк платья придавал этому ощущению неприятный оттенок. — Вениамин был вечно голоден. Я выглядел как сущее дитя.

— Ты был очень мил, — произнесла она, не обратив внимания на то, что он перебил ее. — На самом деле мил и очень трогателен.

— Я таким и остался, — улыбнулся Энтони.

Она молча посмотрела на него. Обрамленный темными густыми волосами лоб был гладок и безмятежен, как у задумавшегося ребенка. Детским, и это было немного комично, был и короткий вздернутый

* Спасибо, дружище! (*фр.*)

нос. В глазах, прикрытых сощуренными веками, плясали искорки смеха, уголки рта приподняты в едва заметной улыбке — в легкой иронической усмешке, противоречившей тем чувствам, для выражения которых были созданы губы Элен. У нее были полные, чувственные, изящно очерченные губы; соблазнительные и в то же время мрачные, печальные и почти трепетно чувствительные; эти губы казались совершенно беспомощными и покинутыми на произвол судьбы маленьким, безвольным подбородком.

— Худшее заключается в том, — произнесла наконец Элен, — что ты прав. Ты действительно мил, ты действительно трогателен. Самое ужасное, что ты не должен вызывать таких чувств. Это сплошной обман, когда ты пускаешь людям пыль в глаза и заставляешь их любить себя совершенно ни за что.

— Ну знаешь ли!.. — воспротивился он.

— Ты даешь им повод давать тебе что-то в обмен на дутий пузырь.

— По крайней мере, я не притворяюсь. Нет толку в том, чтобы изображать великую страсть. — Он распевно протянул «е» и скартавил на «эр». — Нет, даже то, что называется *Wahlverwandschaft**, — добавил он, перейдя на немецкий, из-за чего вся романтика родственных душ и вакхических страстей зазвучала смешно. — Можно просто чуть-чуть повеселиться.

— Чуть-чуть повеселиться, — отозвалась Элен, задумавшись о том времени, когда началось их знакомство и когда она, еще совсем юная, стояла на пороге дома, что называется Любовью, никак не решаясь войти. Но как уверенно, без лишних слов и с подчеркнутой галантностью, как безнадежно и окончательно захлопнул он перед ней дверь! Он не пожелал быть лю-

бимым. В течение секунды она была на грани духовного опустошения; затем же, с горьким и саркастичным отвращением, без которого ей уже невозможно было смотреть на его лицо, она согласилась на все условия. Они были приемлемы, поскольку ничего другого в будущем не предвиделось, да и хотя бы по причине того, что он был знаменитостью и она в конце концов сильно привязалась к нему; может быть, еще и потому, что он, по крайней мере, знал, как доставлять ей физическое удовольствие. — Чуть-чуть повеселиться, — повторила она и презрительно усмехнулась.

Энтони смерил ее удивленным взглядом, чувствуя неудобство от того, что она едва не нарушила молчаливое согласие между ними и коснулась запретной темы. Однако его опасения оказались напрасными.

— Приму к сведению, — вымолвила она после небольшой паузы. — Ты, как всегда, честен, но это не меняет того, что тебе достается все в обмен на мыльный пузырь. Считаю, что это непреднамеренный обман. Твое лицо — твое главное достояние. Внешность есть внешность. — Она снова согнулась, рассматривая фотографии. — Кто это?

Он секунду помедлил с ответом, затем, улыбаясь, но чувствуя в то же время некоторое неудобство, произнес:

— Одно из несерьезных увлечений. Ее звали Глэдис.

— Весьма возможно. — Элен презрительно поморщила нос. — Почему ты расстался с ней?

— Она ушла сама. Предпочла кого-то другого. Да я не особенно и возражал.

Он хотел сказать что-то еще, но она перебила его:

— Может, ее любовник часто беседовал с ней в постели.

Энтони покраснел.

— Это ты к чему?

— Довольно странно, но некоторые женщины любят разговоры перед сном. А когда она поняла, что ты не собираешься с ней разговаривать... Ты же никогда этого не делаешь. — Она, отложив в сторону Глэдис, взяла в руки фотографию женщины, одетой по моде начала века. — Это твоя мать?

Энтони кивнул.

— А вот твоя, — произнес он, указывая на снимок Мери Эмберли в «похоронной» шляпе. Потом с едва заметным отвращением добавил: — Человек постоянно обречен тянуть за собой груз прошлого. Существует все же какой-то способ избавиться от ненужных воспоминаний. Терпеть не могу этого Пруста. Просто не выношу. — И с неподдельно клоунским видом он принялся рисовать портрет чахоточного искателя утраченного времени, скукоженного, мертвенно-бледного, с дряблыми мышцами и грудью почти что женской, поросшей длинной черной растительностью, обреченного вечно барахтаться в помоях своего незабываемого прошлого. Высохшие мыльные хлопья от бесчисленных ванн, принятых за всю жизнь, клубились вокруг него, и многолетняя грязь облепила коркой стены лохани и оседала мутной взвесью на дне. Он сидел там, бледнотелый, уродливый старик, загребая горстями мыльную мякоть и размазывая ее по лицу, черпая блеклую пену и раскатывая грязный песок вокруг губ, засасывая его ртом и носом, как пандит² в потоках Ганга.

— Ты описываешь его как заклятого врага, — заметила Элен. Энтони не нашел ничего лучшего, как рассмеяться.

Последовало молчание, и Элен подняла с пола упавшую фотокарточку своей матери, принявшись внимательно разглядывать ее, будто

та представляла собой некую тайнопись, которая, будучи расшифрованной, могла бы стать ключом к разгадке важного секрета.

Энтони какое-то время наблюдал за ней; затем, сделав над собой усилие, загреб ворох фотографий и вынул из него дядюшку Джеймса в теннисном костюме тысяча девятьсот шестого года. Он умер давно — от рака, бедный старик, нашедший утешение в католической религии. Он бросил этот снимок и взял в руки другой, групповой портрет на фоне туманных альпийских гор: отец, мачеха и две сводных сестры. «Гриндельвальд, 1912» — стояла надпись на обороте, сделанная четким почерком мистера Бивиса. Энтони заметил, что у всех четверых в руках были альпенштоки.

— Я бы тоже хотел, — произнес он вслух, кладя на стол фотографию, — я бы хотел, чтобы мои дни отделялись друг от друга периодами противоестественного неверия.

Элен взглянула на него, оторвав глаза от таинственной криптограммы.

— Зачем ты тратишь время, перебирая старые карточки?

— Я делал уборку в шкафу, — объяснил он. — И они вылезли на свет божий. Как мумия Тутанхамона. Я не мог противиться искушению, чтобы не взглянуть на них. Кроме того, сегодня мой день рождения.

— То есть как день рождения?

— Сорок два года. — Энтони покачал головой. — Слишком удручает. И поскольку человеку всегда свойственно драматизировать события... — Он поднял со стола еще одну пачку фотографий и разжал пальцы. — Мертвые воскреснут по гласу трубному. В этом виден перст Судьбы. Все во власти его величества Случая, если хочешь знать.

— Ты, наверное, крепко любил ее? — спросила Элен после очередной паузы, держа перед ним прозрачное изображение своей матери.

Он кивнул и, чтобы перевести разговор на другую тему, внезапно заявил:

— Она пробудила во мне интерес к культуре. Я был наполовину дикарем, когда попал к ней в руки. — Ему не хотелось разглашать свои чувства к Мери Эмберли, особенно (хоть это и был, без сомнения, глупейший пережиток варварства), когда дело касалось Элен. — Бремя белой женщины³, — добавил он с усмешкой. Затем, снова взяв в руки фото с альпенштоком, произнес: — Вот откуда она меня вытаскивала. Темные ущелья Швейцарии. Никогда не перестану благодарить ее.

— Жаль, что она не сумела родить саму себя, — проговорила Элен, когда вдоволь нагляделась на альпенштоки.

— Кстати, как она теперь?

Элен пожала плечами.

— Чувствовала себя лучше, когда вышла из санатория этой весной. Потом, естественно, все началось сызнова. Старая история. Морфий, а в перерывах алкоголь. Я видела ее в Париже по пути домой. Это было невыносимо. — Она содрогнулась.

Насмешливо-ласковая, его рука все еще гладила ее по бедру, что неожиданно показалось совершенно неуместным. Он опустил руку.

— Не знаю, что и хуже, — заметила Элен после паузы. — Грязь, ты даже не представляешь, в каких условиях она живет. Либо хамит, либо не говорит ни слова правды. — Она глубоко вздохнула.

Движением руки, в котором не было ничего насмешливого, Энтони сжал ее запястье.

14 — Бедняжка Элен!

Отвернувшись, она постояла несколько секунд молча, без движений, затем тряхнула головой, словно отгоняя какое-то наваждение, и Энтони почувствовал, как ее безвольная ладонь внезапно сильно сжала его руку. Она обернулась к нему, ее лицо оживилось, став наигранно веселым.

— Нет, это Энтони-бедняга. — Из ее горла вырвался странный и неожиданный звук от сдавленно-го смеха. — Фальшивое притворство!

Он пытался уверить ее, что сейчас он и не думал притворяться, но она наклонилась и, словно злобный насильник, прижалась своими губами к его губам.

Глава 2

4 апреля 1934 г.

ИЗ ДНЕВНИКА ЭНТОНИ БИВИСА

Жизнь любого человека увенчивают пять слов: *video meliora proboque; deteriora sequor**. Как и все живые существа, я знаю, что я должен делать, но почему-то продолжаю делать то, что не должен. Сегодня днем, например, я вышел проведать несчастного Беппо, который лежит с осложнением после гриппа. Я знал, что нужно было посидеть с ним и дать ему излить все жалобы на неблагодарность и жестокость со стороны молодых, развеять страх перед приближающейся старостью и одиночеством, жуткую мнительность по поводу того, что окружающие считают его занудой и *ne pas à la page***.

Князя Болинские устраивают вечеринку и не приглашают его, Хэгворм не звал его на воскресный бал с ноября месяца... Я чуял нутром, что

* Вижу и одобряю лучшее, а следую худшему (лат.). — Овидий «Метаморфозы».

** Отставший от жизни (фр.).

должен был с сочувствием ему внимать и давать хорошие советы, умолять его не убивать себя по поводу и без повода. Советы он, разумеется, все равно бы не принял, следуя своему принципу, и все-таки — кто знает? — никогда не следует пренебрегать тем, чтобы давать их. Вместо этого я скрепя сердце купил ему фунт дорогого винограда и тотчас же поспешил скрыться под предлогом того, что нужно было бежать на важную встречу. Истина состояла в том, что я был просто не в состоянии выслушивать, как он снова станет рассказывать о своих несчастьях. Я оправдал свое поведение тратой в пять шиллингов и благочестивыми мыслями — в пятьдесят лет мужчина должен быть достаточно разумным, чтобы бросить любовные интрижки, званые обеды и встречи с нужными людьми. Как его угораздило оказаться таким ослом? Может быть, поэтому (как безупречна логика!) мне не следовало делать того, что, я знал, нужно сделать. Но я поспешил откланяться четверть часа спустя, оставив больного друга в одиночестве, мучимого самоуничтожением. Хотелось бы все же зайти к нему завтра по крайней мере часа на два.

«Греховная природа» — можно ли теперь употреблять это выражение? Нет, разумеется. Оно рождает столько негодных побочных ассоциаций: жертва агнца, страшно впасть в руки Бога живаго, геенна огненная, сексуальная озабоченность, хамство, благочестие вместо благотворительности. (Этот старик Беппо, если его вывернуть наизнанку, — Комсток или апостол Павел¹). «Греховная природа» означала также ту бесконечную занятость собой, что губит живую душу. Почитайте, если хотите, дневник принца Альберта, ревностного евангелиста, у которого тем не менее хватило смелости основать Дом Любви «под духоводством», как говорят бухманиты², по-

скольку его долго угнетало вожделение, и он совокуплялся с кем попало, оно в дальнейшем абсолютно открыто стало повелением Святого Духа, храмом которого он в конце концов провозгласил себя, ставшего «единой плотью с Богом». И он продолжал «соединяться» прилюдно, ни от кого не скрываясь, на диване в гостиной.

Нельзя употреблять эту фразу, как нельзя общаться с помощью клише и мыслить в виде ощущений. Это не значит, конечно же, что постоянных искушений не существует или вообще не следует соваться в эти дела и пытаться что-либо изменить. Я помню, как старик Миллер заметил однажды, когда мы ехали на лошадях к одному из больных индусов в Гималаях: «На самом деле человек по природе — единство, но ты умышленно превратил его в триединство. Один умный и два идиота — вот что у тебя получилось. Блистательный жонглер идеями, управляемый тем, кто по глубине самопознания и чувств чистый недоумок, а двое остальных имеют лишь косвенное отношение к телу, наполовину лишенному разума. К телу, которое никоим образом не осознает, что оно делает и что значат его ощущения, так как лишено черт, присущих индивидуальности, и не знает, где найти себе применение. Два полоумных и один интеллигент. Человек — воплощение демократии там, где правит большинство. Остается только с умом распорядиться этим большинством». Эти записи — лишь первая ступень. Самопознание — вот что всегда предшествует развитию личности. (Сначала чистая наука, и лишь потом прикладная.) У меня одно чувство — безразличие. Меня не могут беспокоить другие люди. Лучше сказать: не будут. Именно поэтому я тщательно избегаю любого случая, когда меня могут побеспокоить. Неотъемлемая составляющая

лечения — собрать в памяти все ситуации, которые не дают спокойно жить, и сойти с пути их создания. Безразличие есть форма безделья. Можно работать не покладая рук, что я всегда и делал, и при этом быть совершенным лентяем, уйти с головой в работу и проявлять потрясающую лень во всем, что не имеет к ней отношения. Потому что в конце концов работа — это удовольствие, в то время как то, что лежит вне ее, и есть личная жизнь, которая у меня скучна и утомительна. Все более и более скучна по мере того, как привычка избегать ее становится все сильнее со временем. Безразличие есть форма лени, а лень, в свою очередь, есть отсутствие любви. Человек не бывает ленив по отношению к любимому существу. Вся сложность заключается в том, как любить. (Жаль, что мы опошлили это слово; оно уже черно оттого, что его долго мусолили поколения Стиггинсов.) Для слов тоже существует своя стирка и химчистка. Любовь, чистота, благородство, душа — куча грязного белья, ожидающего прачку. Как можно любить, если само слово «любовь» стало истертым, как носовой платок, как при этом чувствовать стойкий и неуываемый интерес к людям? Как антропологически подходить к ним, как сказал бы старина Миллер? Не так-то легко ответить.

5 апреля

Работал все утро. Было бы глупо не придать формы всему тому, что сделано. Я имею в виду, конечно, новую форму. Мой первоначальный замысел был сочинить некий труд, основанный на исторических фактах. То была бы картина тщетности познания, объективная и в высшей степени научная, но созданная, как я прекрасно понимаю, только для того, чтобы оправдать мой образ жизни. Если бы

люди всегда вели себя как гориллы или олигофрены, если бы они не могли вести себя иначе, то я мог бы со спокойной совестью сидеть в партере и наблюдать за ними через театральные бинокль. Но что, если можно что-то сделать, что, если такое поведение можно изменить... Тогда описание человеческого поведения и поиск путей его изменения может представить какую-то ценность, хотя и не такую значительную, чтобы оправдать отклонение от любых других видов деятельности.

На вечере у Миллера я познакомился со священником, который очень серьезно относится к христианству и приступил к созданию пацифистской организации. Зовут его Перчез. Это рослый мускулистый мужчина средних лет, воспитанный в христианском духе. (Трудно признать, что человек может использовать в своей речи штампы и оставаться при этом интеллигентным!) Но он очень достойный человек. Более чем достойный. Производит сильное впечатление.

Моя цель — использовать и расширить организацию Перчеза. Сейчас это объединение представляет собой маленькую группу, наподобие раннехристианской агапе³ или коммунистической ячейки. (Интересно, что все движения, одержавшие верх, начинались с кружков по восемь человек, как в гребле, или по одиннадцать, как в футболе.) Объединение Перчеза послужит началом для братства всех христиан. Опыт показал, что религиозные узы повышают дееспособность и укрепляют дух сотворчества и самопожертвования. Но братство в терминах христианской религии будет по большей части неуместным. Миллер полагает возможной нетеологическую практику медитации, которую он, конечно, хочет сочетать с тренировками, стихами Ф. М. Александра, использованием возможностей собственной

личности, каковое использование начинается с физического самоконтроля, а это, в свою очередь (поскольку тело и дух суть одно), ведет к достижению контроля над импульсами и чувствами. Однако на практике это невозможно осуществить, поскольку нет квалифицированных учителей. «Мы должны удовольствоваться тем, что можем сделать в плане духовном. Физическое потянет нас вниз, это ясно. Плоть слаба в гораздо большей степени, чем мы можем предполагать».

Я согласился вложить в это дело деньги, подготовить нужную литературу и провести в группах беседы. Последнее было самым трудным, поскольку я всегда воздерживался от публичных выступлений. Когда Перчез ушел, я спросил Миллера, не стоит ли мне взять несколько уроков ораторского искусства.

Он ответил: «Если вы начнете брать уроки до того, как будете иметь хорошую координацию движений, вы будете просто усваивать неправильные принципы самоиспользования. Работайте над своим телом, добейтесь координации, ведите себя как следует. Трудности, связанные со сценическим страхом, постановкой голоса, исчезнут сами собой».

Затем Миллер дал мне первый урок «самоиспользования». Учил, как сидеть на стуле, как вставать, облокачиваться и наклоняться вперед. Он предостерег меня от того, что на первый взгляд могло показаться бессмысленным, и убедил в том, что интерес и понимание придут впоследствии с успехом. Сказал, что мне нужно найти решение проблемы *video meliora proboque; deteriora sequor*: метод, позволяющий переводить благие намерения в благие деяния, чтобы быть полностью уверенным в том, что делаешь то, что должен.

Провел вечер с Беппо. Выслушав длинный перечень несчастий, высказал мнение, что лекарства быть не может, только предупреждение

и профилактика. Следует избегать причины. Реакцией была вспышка гнева: он сказал, что я пытался лишить смысла его жизнь и подстрекал к самоубийству. В ответ я намекнул, что смысл можно и изменить. Он же заявил, что скорее умрет, чем изменит своему смыслу; потом в его настроении случился перепад, и он взмолился Богу о том, чтобы быть в состоянии отказаться от своих ценностей. Но ради чего? Я предложил ему стать пацифистом, но он уже им был, причем всю жизнь. Конечно же, я знал об этом, но его пацифизм был бездейственным, со знаком минус. Выступления против войны, сказал я, бывают искренними и показными. Он выслушал, ответив, что подумает. Возможно, это будет неплохой выход, сказал он на прощание.

Глава 3

30 августа 1933 г.

С плоской крыши дома открывался живописный вид на запад, где полоса между городом и пляжем была усажена сосновой рощей; голубую средиземноморскую бухту окаймляли бледные скалы цвета слоновой кости, между которыми виднелись высокие холмы, поросшие вьюнами на склонах и серые от оливковых зарослей, затем черные от сосен, глинисто-красные, скалисто-белые и бурые от роз и выгоревшего вереска.

Через пустошь между близлежащими холмами металлически четко пролегла длинная гряда Сен-Бом, голубая на горизонте. К северу и к югу сад обрамляли сосны, а с восточной стороны виноградники и оливковые сады поднимались к террасам с суглинистой почвой, образуя гребень. Деревья, росшие ближе всего к морю, были то мрачными и за-

думчивыми, то дрожали, отливая серебром на небесном фоне.

На крыше валялись матрасы для солнечных ванн, и на одном из них Энтони и Элен лежали головой по направлению к узкой тени южной перегородки. День шел к полудню; солнечный свет струился с неба без единого облачка, и легкий ветерок налетал, ослабевал и затем снова усиливался. Охваченная судорожным жаром кожа, казалось, стала более чувствительной, почти обрета высшую силу воспарения. Она словно впитывала нектар жизни, посылаемый солнцем. И эта странная, мятежная, пламенеющая жизнь открытого пространства, видимо, проникала через поры, пронизывая и прожигая плоть, пока все тело не превращалось в угли, а душа будто сама вылетала из своей оболочки и становилась пятым элементом, чем-то иным, какой-то внеземной субстанцией.

Существует не так-то много мимических жестов, можно сказать, что их вообще очень мало по сравнению с богатством мыслей, чувств и ощущений — непостижимая нищета лицевых рефлексов — даже если гримасничать сознательно и целенаправленно! Все еще пребывая в состоянии самоотчуждения, Энтони наблюдал картину одра смерти, к которой был причастен и как убийца, и как сопереживающая жертва. Элен без устали ворочала головой из стороны в сторону, словно пытаясь, меняя положение хотя бы отчасти, хотя бы чуть-чуть, на одно-единственное мгновение избавиться от невыносимых мучений. Иногда, как будто подражая тому, кто в минуту отчаяния взмолился, чтобы миновала его чаша сия, она молитвенно складывала руки и, поднеся их ко рту, впивалась зубами в костяшки пальцев или прижимала кисть к губам, словно желая заглушить готовый сорваться с уст крик боли. Искаженное лицо представ-

ляло собой маску нестерпимого горя. Энтони склонился к ее губам и внезапно понял, что сейчас эта женщина похожа на Деву Марию у подножия креста на картине Рогира ван дер Вейдена¹.

А затем на несколько секунд воцарилась тишина. Жертва больше не поворачивала голову на подушке; умоляющие руки стали как ватные. Выражение предсмертной боли уступило место нечеловеческому, почти экзальтированному спокойствию. На губах запечатлелась серьезность, как у святого, а закрытым глазам, наверное, открылось какое-то чарующее своей красотой видение.

Так они лежали довольно долго в золотой солнечной отрешенности, пресытившись всем. Первым очнулся Энтони. Тронутый немой, благодарным безмыслием и нежностью довольного тела, он протянул ласкающую руку. Ее кожа была горячей на ощупь. Он подпер голову рукой и открыл глаза.

— Ты как будто сошла с полотна Гогена, — сказал он секунду спустя. Как у гогеновских персонажей, ее фигура стала коричневой и плоской, загар уничтожил игру перламутровых, карминовых, синеватых и зеленых оттенков незагорелой кожи, которые придавали белому женскому телу особенную пышность и рельефность.

Его голос пугающе вторгся в восхитительное, разморенное забытие Элен. Почему он никак не оставит ее в покое? Она чувствовала себя такой счастливой в ином мире своего преображенного тела, а теперь он звал ее назад в земную жизнь, в обыденную, словно адскую, пустоту, к зною и тревогам. Она не ответила на его слова и, закрыв глаза еще плотнее под угрозой возвращения в реальность, попыталась заставить себя очутиться вновь в том раю, из которого ее вытащили.

Загорелая, как на полотне Гогена, и такая же плоская... Но его первое знакомство с Гогеном (тогда он притворился, что творения француза понравились ему гораздо больше, чем в действительности) произошло во время путешествия в Париж с Мери Эмберли — какое это было волнующее, необыкновенное и — особенно для двадцатилетнего мальчика, каким он тогда был, — апокалиптическое время.

Он нахмурился: его прошлое стало чересчур вязчивым. Но когда, чтобы уйти от него, он нагнулся и поцеловал плечо Элен, он обнаружил, что в воздухе царил слабый, едва ощутимый соляной и дымный запах, запах, преследовавший его ежеминутно до мелового карьера у Чилтерн-Хиллз, где он проводил невыразимо приятные часы в обществе Брайана Фокса, ударяя друг о друга два кремня и восторженно пыхтя, когда искра оставляла характерный запах загоревшегося моря.

— К-как д-дым на м-морском д-дне, — заикаясь, произносил Брайан, когда Энтони давал ему понюхать кремень.

Даже, казалось бы, самые крупные осколки нынешней реальности раздроблены противоречиями. Что может быть ближе к настоящему, чем женское тело, лежащее под солнцем? И все же оно изменило ему. Ее твердая реакция на его чувства и его почти животную нежность погрузила его в совершенно иное пространство и время, вся Вселенная грозила распадом на атомы. Даже от ее тела веяло разлагающимися водорослями. Живое тело, настоящее тело, еще существовавшее спустя двадцать лет после смерти Брайана.

Меловой карьер, картинная галерея, смуглая фигура на солнце, тело, от которого теперь шел запах соли и дыма с примесью, как в свое время

у Мери, резкого мускуса. Где-то на периферии сознания безумец перебирал пачку фотоснимков, вынимал один наугад, опять смешивал их как попало, раскладывал в произвольном порядке, вновь бессмысленно тасуя. В раскладе не было никакой хронологии — идиот не мог удержать в памяти, что было раньше, а что позже. Карьер был таким же реальным и отчетливым, как и галерея. Истекшие десять лет отделили кремни от полотен Гогена, и не вызывало сомнения, что цепкая память могла спутать одно с другим. Тридцать пять лет его сознательной жизни теперь внезапно предстали перед ним как хаос — пачка фотографий в руках сумасшедшего. И кому решать, какие снимки нужно было хранить, а какие выбросить? Запуганному, движимому инстинктом животному, как пишут фрейдисты. Но последователи Фрейда стали жертвой случайной ошибки, ведь безупречные рационалисты всегда найдут достаточно доводов и объяснят что угодно. Страх и похоть — самые понятные мотивы из всех. Поэтому... Но психология не имела большего права посягать на человека и даже на животное, чем любая другая наука. Помимо тела и разума человек обладал еще набором составляющих, которыми распоряжается случай. Одни считались полезными как органические вещества или потому, что относились к высшему типу психики, прочие же, будучи унаследованными от животных, запечатлевались или вычеркивались из памяти из-за того, что обладали чувством. Но для чего было нужно то, что не имело чувства, не обладало красотой, не служило разуму? Память в таких случаях казалась просто делом везения. Когда это произошло, некоторые человеческие качества оказались в благоприятном положении. Фотоаппарат щелкал, и фрагмент реальности навсегда сохранился на пленке. По-иному и быть не могло.

Если бы только ему в голову не пришла мучительная мысль, если бы причина не открывалась после самого события, а не до него, если бы она не таилась в будущем. Что, если бы картинную галерею можно было зафиксировать и хранить в закоулках памяти, чтобы потом, то есть теперь, она была бы извлечена из подсознания? Извлечена сегодня, когда он, сорокадвухлетний, чувствовал себя твердо и непоколебимо стоящим на ногах, воскресла вместе с беспокойными годами его молодости, вместе с женщиной, многому научившей его и бывшей первой его любовью, той, что теперь едва сохранила человеческий облик, живя в одиночестве в грязной дыре. И что, если в этой бессмысленной детской игре с кремнями был глубокий, сокровенный смысл, который можно было просто воссоздать вот здесь, на раскаленной крыше, теперь, когда его губы касались изомлевшего под солнцем тела Элен? В случае, если его заставят во время этого порыва бесстрастной и безответственной чувственности думать о Брайане и о том, ради чего он жил и ради чего умер — да, умер... Внезапно другое видение снизошло на Энтони; он вспомнил, как мальчиком у подножия такой же скалы, как та, внизу, он играл в меловом карьере. Да, даже самоубийство Брайана, которое он с ужасом восстанавливал в памяти, даже пожелтевшее тело на скалах таинственно сквозили в этой горячей коже.

«Раз, два, три, четыре», — считая каждое движение своей руки, он принялся ласкать ее. Магический жест любви, если его часто повторять, вернет его, пронзая прошлое и будущее, истину и ложь, в осколочно-бессвязное, хаотичное настоящее. Обрывки мыслей, желаний и чувств струились как поток, проходя через мрак времени, сталкиваясь и расходясь. Игровой дом, больница, зоосад, дальше в углу би-

блиотека и задумавшийся незнакомец. Безымянный, полностью зависящий от милости крупье, дураков и полускотов и все же не сломленный и неутомимый. Еще два или три года, и курс социологии для начинающих будет закончен. Несмотря ни на что, мысль его, хрипя, уносилась ввысь и пульсировала счетом: тридцать два, тридцать три, четыре, пять...

Глава 4

6 ноября 1902 г.

Он увидел рога с копной огненно-рыжей шерсти посередине — розовая морда с любопытством тянулась к чашечке с блюдцем. В глазах выражалось больше, чем простое человеческое изумление. БЫК В ЧАЙНОЙ ЧАШКЕ, гласила шестидюймовая надпись, служившая рекламой говяжьих кубиков. Бык в чайной чашке. Слова, звучавшие смехотворно, портили родной округ, как экзема на коже. Одна из тех жутких и постыдных болезней. Поезд, увозивший Энтони Бивиса в Суррей, оставлял за собой огромные километры, покрытые коростой пошлости. Таблетки, мыло, микстура от кашля и, что казалось более гнусным и никуда не годным, чем все остальное, — говяжье мясо, бык и его чашка.

«Тридцать один, тридцать два», — шептал про себя мальчик, жалея, что не начал считать быков с самого начала. Между Ватерлоо и Клэпхемским узлом их, должно быть, сотни. Или тысячи. В углу напротив, запрокинув голову, сидел отец Энтони, заслонив лицо от солнца рукой. Его верхняя губа судорожно подергивалась, а над ней виднелись желтые от табака усы.

— Приди ко мне, — напевал Джон Бивис, что относилось к особе, которая, закрыв глаза,

казалась то живой, то уже окостенелой и неподвижной, как строчки, внезапно пришедшие ему в голову:

Приди ко мне — я буду ждать тебя
В юдоли мрака, веря и любя.

Нет жизни после смерти. После Дарвина, после сестер Фокс, тем более после деда — отца Джона Бивиса — хирурга... За той юдолью мрака есть лишь небытие. И все же, и все же... эта песня бессмертна: приди ко мне, ко мне, мне-мне, мне-мне...

«Тридцать три».

Энтони отвернулся от окна, мимо которого проплывали деревья и поля, и содрогнулся при виде руки, закрывшей глаза. Его навязчивое желание пересчитать быков теперь вдруг вызвало стыд, показавшись предательством. И дядя Джеймс на другом конце сиденья, читающий «Таймс», и его лицо в этот момент, меняющее выражение каждые несколько секунд из-за нервного тика. Он мог бы, по крайней мере, иметь совесть не читать теперь — теперь, когда они были на пути к... Энтони не смог произнести эти слова, сделавшие бы все ясным, словно капля воды, он хотел избежать этой ясности. Чтение «Таймс», может, было постыдным, но это не так ужасно, как сама невыносимость преследовавшей его мысли и невозможность отделаться от нее. Энтони снова, уже сквозь слезы, посмотрел в окно. Окрасившаяся в золотые краски зелень бабьего лета плыла в мерцающих сумерках. И внезапно колеса поезда застучали по шпалам. «Мертва-мертва-мер...» — кричали они. Мертва навеки. Слезы хлынули потоком, на мгновение согрели его щеки, затем обожгли холодом. Он вынул платок и вытер их, убрав пелену, нависшую перед глазами. Лучившийся под солнцем мир лежал перед ним как огромный причудливый брил-

лиант. Листья вязов пожухли, приобретя цвет бледной охры. Неподвижные великаны, возвышающиеся над полями, они, казалось, задумались о чем-то в хрустальном утреннем свете, что-то усиленно вспоминая, извлекая из-за грани невидимости и возвращая призракам форму, вглядываясь при последнем дыхании в глубину прошлого, стремясь раствориться в моментальных вспышках осеннего цвета, бесконечного летнего торжества.

«Мертва-мертва-мер... — в бешеной гонке повторяли колеса, когда состав переезжал мост. — Мертва-мертва».

Энтони попытался не слушать, но все напрасно, затем его воображение стремилось заставить колеса твердить другую фразу — к примеру, почему бы им не говорить: «При опасности нажми стоп-кран»? Именно это они обычно произносили. С огромным усилием он заставил их сменить рефрен.

«При опасности нажми стоп-кран-мертва-мер-кран». Мертвый кран. Ничего не получалось. Мистер Бивис на секунду открыл глаза и выглянул в окно. Осенние деревья блестели ярким светом. Переливались, казалось, жестокими бликами, убийственно, если не считать какого-то обреченного безмолвия, по-стеклянному хрупкого, которое пророчески возвещало о наступлении тьмы. Черные ветви мучительно колебал ветер, и они заслоняли звезды, а воющий буран ранил снежинками, как стрелами.

Дядя Джеймс перевернул страницу «Таймс». «Ритуалисты и кенсититы опять борются, каждый за свои права, — с удовольствием заметил он. — Пускай перегрызутся. «Мистер Чемберлен в школе при университетском колледже». Что еще понадобилось старому черту? Церемония открытия мемориальной доски погибшим в Англо-бурской войне. Свы-

ше ста парней отправили на фронт, и двадцать из них пали смертью храбрых, отстаивая честь империи в Южной Африке. (*Аплодисменты!*) Обманутые дураки», — подумал дядя Джеймс, который всегда страстно защищал буров.

Чучела посреди настоящих коров на пастбище, огромные рога, парусовидные, сбившиеся космы палено-рыжего цвета, любопытные, чашка из-под чая. Энтони закрыл глаза, дав волю фантазии. Нет, твердил он со всей решимостью, надеясь побороть в себе грохот колес. Он заградил дорогу ужасу, наотрез отказываясь узнавать быка. Но была ли от отказа какая-либо польза? Колеса все еще грохотали. А как ему было стереть из памяти то, что этот бык справа тридцать четвертый у стрелки рядом с Клэпхемом? Число всегда оставалось числом, даже по дороге к... Но считать казалось позорным, таким же пошлым, как газета дяди Джеймса. Счет был сродни трусости, предательству. И все же то, о чем им оставалось думать, было еще страшнее. Может быть, более противостоительно.

«Что бы мы ни думали или продолжали думать о причинах, о необходимости и оправданности войны, ныне благополучно завершившейся, я думаю, у нас есть право чувствовать глубокое удовлетворение от того, что в час, когда страна призвала своих сыновей к оружию, лучшая часть нации откликнулась на ее зов...» С лицом, пышущим негодованием, дядя Джеймс отложил газету и взглянул на часы.

— Опаздываем на две с половиной минуты, — сердито сказал он.

«Будь это на сто лет позже, — подумал мистер Бивис. — Или на десять лет раньше, нет, лучше на двенадцать-тринадцать. На первом году их свадьбы».

Джеймс снова посмотрел в окно.

— Еще по крайней мере миля до Лоллингдона, — закончил он.

Его пальцы потянулись к хронометру в кармане жилета, словно к ране или больному зубу. Время ради себя самого. Время, всегда диктующее, повелевающее, существующее для того, чтобы смотреть и узнавать, который час.

Колеса стучали все медленнее и медленнее, пока их однообразный грохот не стал почти невнятным. Послышался визг тормозов.

— Лоллингдон! Лоллингдон! — затанул кондуктор. Но дядя Джеймс уже спрыгнул на перрон.

— Быстрее, — кричал он, скача вперед на своих журавлиных ногах по платформе, вдоль которой еще двигался поезд. Его рука снова потянулась к той таинственной язве, продолжавшей грызть его совесть. — Быстрее!

Внезапное негодование прожгло мозг его брата. «Зачем он торопит меня?» Как будто ему угрожала опасность потерять что-то, какое-то приятное переживание, головокружительное, но мимолетное развлечение. Энтони вылез из вагона вслед за отцом. Они прошли под арку мимо стены, покрытой надписями: НА БЕДНОСТЬ И С БОГОМ ВСЕМ ЖИВУЩИМ ПИКВИК И ФИЛИН СРЕДСТВО ПРОТИВ МОЛИ ЖУКОВ ПАУКОВ КЛИН КЛИНОМ КОФЕ КОМПАНИИ БРЭНСОН БЫК В... И внезапно встали перед глазами те самые рога, выпученные глаза, чашка — тридцать пятая по счету... Нет, я не хочу этого, мне это противно — но все пошло сызнова — тридцать пятый бык справа от стрелки рядом с Клэпхемом.

В коляске пахло соломой и кожей. Соломой, кожей и восемьдесят восьмым годом — ведь тогда это случилось? Да, как раз под Рождество,

когда они поехали на бал к Чамперноунам — он, она и ее мать — на холоде, в овчинном тулупе вокруг колен. И он как будто случайно обхватил ее руку своей. Ее мать говорила о том, как трудно нанять слуг, и что когда их наймешь, увидишь, что те ничего не умеют, что они не радеют обо всем. Она не убрала руку! Значило ли это, что она не возражала? Он пошел на риск, стиснув ладонь. Они постоянно дерзят, говорила мать, они... Он почувствовал, как ее пальцы сжали в ответ его, и, взглянув ей в лицо, догадался по его смутным очертаниям, что она улыбалась ему.

— В самом деле, — говорила она, — я не знаю, чем все это теперь кончится.

Он заметил, как зубы Мейзи блестят недобрым блеском. Легкое сжатие руки стало слегка таинственным, интригующим, неприличным.

Старая лошадь медленно везла их по тропинкам прямо в самую глубину огромного осеннего самодцвета, блестящего золотом и хрусталем, пока они наконец не остановились в самой его сердцевине. При свете солнца церковная башня отливала черным янтарем. Часы на ней, как с недовольством заметил Джеймс Бивис, шли с опозданием. Они проследовали сквозь крытый проход на кладбище. Впереди них, испуганно вытягивая грязные головы, тащились четверо чернокожих. Две представительные дамы (Энтони они показались великаншами) выросли среди мраморных плит темно-синими манекенами.

Впереди них шествовали двое огромных мужчин, которых изящные цилиндры делали еще выше.

— Чамперноуны, — сказал Джеймс Бивис, и знакомое имя прозвучало как кинжал, который еще больнее язвил душу его брата — Чамперноуны и... — как зовут парня, за которого вышла их дочь? Энсти? Эннерли? — Он вопросительно взглянул

на Джона, но тот неподвижно смотрел прямо перед собой, не говоря ни слова.

— Эммерсхем? Этертон? — Джеймс Бивис раздраженно нахмурился. Педант по натуре, он придавал огромное значение именам, датам и числам. Он гордился тем, что может правильно называть их. Отрывочное воспоминание привело его в бешенство. — Этертон? Эндерсон? — И убийственной всего было то, что этот молодой человек был весьма хорош собой и обходителен, вел себя не так, как негнушащиеся, твердолобые солдафоны вроде его тестя-генерала, а свободно, с изяществом... — Не знаю, как его зовут, — заключил он, и его правая щека вновь задержалась, как будто какая-то мошка случайно оказалась у него на лице и отчаянно пыталась спастись.

Они шли дальше. Энтони казалось, что душа его ушла в пятки — провалилась через колени вниз. Он чувствовал себя довольно плохо, и все же кто-то словно подгонял его.

Черные великаны приостановились, обернулись назад и бросились им навстречу. Полетели шляпы, друзья обменялись рукопожатиями.

— Ах ты милый Энтони! — воскликнула леди Чамперноун, когда до него наконец дошла очередь. Она порывисто бросилась к нему с поцелуями.

Эта женщина страдала полнотой. Ее губы оставили отвратительное влажное пятно у него на щеке. Энтони не выносил ее.

«Наверное, мне тоже стоит его поцеловать», — думала Мери Эмберли, наблюдая за своей матерью. Таких странностей можно было ожидать во время свадьбы. Полгода назад, когда она была еще выпускницей колледжа Мери Чамперноун, такое считалось немыслимым. Но теперь — кто бы мог подумать? В конце концов она все-таки решила,

что не будет целовать мальчика, поскольку эта формальность казалась ей смешной. Она молча пожала ему руку, улыбнулась, но лишь от распиравшего ее ощущения тайного счастья. Она была на пятом месяце и последние две-три недели пребывала в состоянии какой-то блаженной дремоты, невыразимо слабой. Блаженство в мире, ставшем прекрасным, многоликим и несметно богатым, несмотря ни на какие опасности. Деревня, которую они проезжали тем утром в едва покачивающемся ландо, напоминала райский сад — тот маленький зеленый уголок между золочеными кронами и башней стал Эдемом. Бедная миссис Бивис умерла, ушла безвозвратно такой прекрасной и юной. Печаль омрачила сад, но, к удивлению, не тронула ее тайного блаженства и была тоскующе-тихой, словно грусть какого-то тихого обитателя далекой планеты.

Энтони на мгновение взглянул на улыбающееся лицо, такое яркое в траурном обрамлении и, казалось, излучавшее покой и мир, потом застеснялся и опустил глаза.

Между тем Роджер Эмберли как зачарованный наблюдал за своим тестем и удивлялся, как можно иметь такой ровный характер. Мог ли человек командовать армией и в то же время выглядеть в точности так, как генерал из оперетты? Даже на похоронах, даже произнося заранее написанную речь, обращенную к безутешному супругу. Скрытые тонкими тараканьими усиками, его губы постоянно дергались.

«Похоже, он сильно расстроен», — думал генерал, разговаривая с Джоном Бивисом и чувствуя сострадание к бедняге даже в те минуты, когда тот вызывал у него открытую неприязнь. Тот был действительно порядочным занудой и ханжой, чересчур заумным и вместе с тем круглым идиотом. Хуже

всего то, что он был немужественным. Его испортило женское общество — сперва он находился под опекой матери, затем тетки, затем жены. Несколько лет в армии сослужили бы ему величайшую службу. Его оправдывало лишь глубокое осознание своей вины и связанная с ним невыразимая печаль. А Мейзи, писаная красавица, была слишком хороша для него.

Они остановились на секунду, затем снова медленно двинулись к церкви. Энтони шел посредине, лилипут среди великанов. Темнота обступила его, заслонила небо, поглотив янтарную башню и деревья. Он шагал будто по дну зыбкого колодца, и черные его стены трещали, готовясь задавить его. Энтони расплакался.

Он не хотел *знать* и изо всех сил старался понимать происшедшее лишь поверхностно, как, например, человек понимает, что после тридцати четырех следует тридцать пять; но черная яма была бездонной, заключая в себе весь ужас смерти. Выхода не было. Рыдания стали душить его.

Мери Эмберли, унесенная далеко в радужных мечтаниях о золотой листве на фоне бледного неба, мимолетно взглянула на это несчастное создание, плачущее на другой планете, и тотчас же отвернулась.

— Бедное дитя! — произнес про себя его отец и затем, очнувшись, добавил: — Бедный сиротка! — Он был доволен тем, что, желая изображать страдание, говорил с огромной болью в голосе. Он посмотрел сверху вниз на сына, увидел убитое горем лицо, полные, чувственные губы доведенного до отчаяния ребенка, красивый высокий лоб над тем, что пощадили горькие слезы, и, когда почувствовал близость чистого, безутешного создания, сердце его скрутил очередной приступ боли.

— Сынок! — сказал он громко, будучи уверенным, что горе еще теснее сблизит их. Ему

было трудно вести себя достаточно непринужденно с ребенком, чтобы расположить его к себе. Но эта боль, несомненно, вызывала общие воспоминания. Он крепко сжал ручонку сына в своей.

Они стояли у церковной паперти. Колодец растворился.

«Можно представить, что мы на Тибете, — подумал дядя Джеймс и снял шляпу. — Почему здесь не положено разуваться?»

В церкви царила поистине египетская тьма, откуда исходил столетний запах деревенской набожности. Энтони дважды вдохнул сладкий от ладана и свечей воздух и почувствовал, как в груди все переворачивается от отвращения. Жалкий, унижающий страх уже заставил его почувствовать себя насекомым, и теперь этот тлетворный дух, лезший в ноздри, свидетельствовал о том, что храм был полон заразы.

«Да здесь рассадник микробов!» — Он услышал ее голос, который вечно казался неузнаваемым, стоило ей заговорить о бактериях. Обычно, когда она не была рассержена, он звучал мягко и даже лениво, с призывком иронии или усталости. Микробы вселили в него какое-то остервенение и вместе с тем испуганность. «Всякий раз сплюнь, когда вокруг микробы, — бывало, говорила она ему. — В воздухе могут быть тифозные бациллы». При этой мысли рот его наполнился слюной. Но как можно плевать здесь, в церкви. Больше не оставалось ничего, кроме как проглотить слюну. Он содрогнулся, охваченный страхом и чувством отвратительной тошноты. А если ему и вправду станет худо в этой душегубке? От подобной мысли у него чуть не подкосились ноги. Что еще можно делать во время службы? Это были первые похороны в его жизни.

Джеймс Бивис взглянул на часы. Через три минуты должно было начаться самое интересное. Почему Джон не настоял на гражданской панихиде без отпевания? Все было бы проще, если бы бедняжка Мейзи не вбила себе это в голову. Маленькая глупышка, она никогда не была по-настоящему религиозной. Ее глупость была обычной мирской, вдобавок граничившей с чисто женским легкомыслием. Глупость, с которой читают романы на диване, чередовалась с глупостью званых вечеров, пикников и балов. Невероятно было то, что Джону удалось смириться с этим дурачеством — оно, казалось, даже нравилось ему. Женщины, кудахтающие за обеденным столом! Джеймс Бивис презрительно нахмурился. Он был женоненавистником — слабый пол выводил его из себя. Все эти мягкие округлости их телес. Безобразно. И вдобавок их безмозглость, доходящая до идиотизма. И все-таки бедняжка Мейзи никогда не была завсегдатаем церкви. Все это в целом характерно для ее родни. В семье имелись настоятели и настоятельницы, и Джон не хотел ущемлять их чувства. Было бы до обидного глупо. Оскорблять других можно лишь с определенной целью.

Зазвучал орган, и в открытую дверь вступили друг за другом священники. Внесли нечто напоминающее огромный ворох цветов. Грянула «Вечная память», затем все стихло. Потом пугающе высоким голосом псаломщик запел «Христос воскрес», и песнопение подымалось к сводам храма, глася о Боге, смерти, зверях Эфесских¹, теле Христовом. Но Энтони почти не слушал, будучи в силах думать только об этих микробах, все витавших в воздухе, несмотря на запах цветов и слюну, которую приходилось глотать со всем ее тифозным чадом, угрозой заражения гриппом, и вызываемое ею невыносимое ощущение в желудке.

Поскорей бы все это кончилось!

«Как козел, а?» — сказал сам себе Джеймс Бивис, слушая ропот у аналоя. Он снова взглянул на зятя Чамперноуна. Эндертон, Эбди? Какой острый классический профиль!

Джон сидел, наклонив голову и закрыв лицо рукой, думая о прахе, лежащем в гробу среди цветов, о том, что некогда было ее телом.

Наконец отпевание кончилось. Слава Тебе, Господи! Энтони тайком сплюнул в носовой платок, сложил его и спрятал бактерии в карман. Тошнота прошла. Он последовал за отцом к выходу и, миновав сумрачный притвор, с упоением вдохнул свежий воздух. Солнце еще стояло над горизонтом. Он огляделся вокруг, затем поднял голову, смотря на белесое небо. В вышине, на церковном шпиле резкие крики галок напоминали звуки, производимые камнем, внезапно упавшим на замерзший пруд и с треском взломавшим ледяную корку.

«Энтони, нельзя бросать камни в пруд, — говорила ему раньше мать. — Они вмерзнут в лед, и потом конькобежцы...»

Он вспомнил, как однажды она бежала ему навстречу, спотыкаясь, хромя и размахивая руками. Как чайка, подумал тогда он, — вся в белом. Прекрасна! А теперь...

Но почему она заставила его встать на коньки?

«Не хочу», — говорил он, и когда она спрашивала почему, было невозможно объяснить. Конечно же, он боялся, что над ним будут смеяться. Но как он мог высказать это вслух? В конце концов он разрыдался на виду у всех. Хуже не могло быть ничего. В то утро он почувствовал лютую ненависть к ней. И вот теперь она ушла, и там, на башне, галки сбрасывали камни на последний лед зимы.

38 Они шли по кладбищенской аллее, и мистер

Бивис еще раз сжал руку своего сына, пытаясь смягчить потрясение, которое окажут на него эти последние, самые тяжелые минуты.

— Крепись, — прошептал он. Это относилось как к мальчику, так и к нему самому.

Подавшись вперед, Энтони заглянул в могилу. Она казалась неестественно глубокой. Он вздрогнул, закрыв глаза, и тотчас же она предстала перед его взором, так же маша руками, как крыльями, белая словно чайка, и снова белая, в атласном вечернем платье, когда она приходила к нему в комнату пожелать спокойной ночи перед тем, как ехать на званый вечер, вся пышущая ароматом, который он чувствовал, стояло ей нагнуться над его кроватью, и завораживающая белизной обнаженных рук. «Ты похож на котенка, — говорила она, когда он ластился щекой о ее руку. — Почему ты не мурлычешь при этом?»

Как бы то ни было, думал дядя Джеймс с удовлетворением, он до последнего настаивал на кремации. Христианство совершенно свихнулось — говорить о воскресении плоти в лето Господне тысяча девятьсот второе!

Когда подойдет его время, думал Джон Бивис, его следует похоронить в этой же могиле. Чтобы его тело покоилось рядом с нею. Его прах станет одним с прахом ее.

Голос священника был по-прежнему неестественно высок.

— Тебе ведомы, Боже, сердца наши...

Энтони открыл глаза. Два дюжих могильщика опускали в яму терракотовый гроб, размером едва превосходящий коробку из-под печенья. Гроб коснулся дна, тросы вытянули наверх.

— Персть во персть, — гомонил козлиный голосок. — Прах ко праху.

«Мой прах к ее праху, — подумал Джон Бивис. — Да будут двое едины».

Внезапно ему вспомнилось путешествие в Рим через год после свадьбы, те июньские ночи и мошки, летящие на костер под деревьями в саду Дориа, словно звезды, что лишились рассудка.

— ...Который одухотворит наше тленное тело так, что оно будет подобно Его славному Телу...

Тленное... тленное? Его душа воспротивилась.

Земля падала лопата за лопатой. Гроб был почти невидим, такой маленький, ужасно и неестественно крошечный... Видение быка, чайной чашки заслонило от него то, что происходило в реальности. Пошлое до невозможности, оно становилось все навязчивее. Галки опять заклокотали на башне. Белая и прекрасная, как чайка, она снова ринулась к нему. Но бык был все еще здесь, в своей чашке, гадкий и отвратительный, и он чувствовал, как становится все более гнусным и невыносимым.

Джон Бивис выпустил руку и обнял ребенка за плечи, прижав его хрупкое тельце к себе — все плотнее и плотнее, пока не почувствовал своим нутром рыдания и скорбь, сотрясавшие его.

— Бедное дитя! Бедный сиротка!

Глава 5

8 декабря 1926 г.

— Ты не посмеешь, — сказала Джойс.

— Я сделаю это.

— Нет, не сделаешь.

— Я тебе ясно говорю, что сделаю. — Элен Эмберли была неумолима.

40 — Тебя посадили бы в тюрьму, если б поймали, — не унималась старшая сестра. — Нет, не

в тюрьму, — поправилась она. — Ты слишком юная. Тебя бы отправили в колонию для несовершеннолетних.

Кровь хлынула в лицо Элен.

— Ты со своими колониями! — закричала она, пытаясь быть презрительной, но голос получился слабым из-за трудно сдерживаемого гнева. Колония для несовершеннолетних воспринималась как личное оскорбление. Тюрьма внушала такой ужас, что в ней было даже что-то занятное. Она была в Шильоне, пересекала мост Вздохов. Но колония — нет! Это было слишком неблагородно. Колония была таким же местом, как общественный туалет или полустанок окружной железной дороги. — Колонии! — повторила она. Джойс постоянно думала о них. Она всегда втаптывала в грязь самое привлекательное и приятное. И что было хуже всего, она была, в общем, права: грязью были доказательства, грязью был здравый смысл. — Ты думаешь, я не отважусь на это, потому что ты не осмелишься? — продолжала Элен. — А я способна и на такое. Я это сделаю для того, чтобы тебя проучить. Я буду красть что-нибудь из каждого магазина, куда мы пойдем. Из каждого. Вот так!

Джойс не на шутку встревожилась. Она испытующе взглянула на свою сестру: бледный профиль, лицо, искаженное мимикой, вызывающе поднятый подбородок — вот и все, что Элен представляла собой в тот момент.

— Послушай меня... — грозно начала она.

— Вот еще, — отозвалась Элен, обращаясь к пустому пространству.

— Не будь дурой!

Ответа не последовало. Профиль напоминал молодую королеву Викторию на монете. Они свернули на Глостер-роуд и пошли мимо лавок.

Но, допустим, несчастная девочка действительно имела это в виду. Джойс изменила тактику.

— Конечно, я знала, что ты на это способна, — сказала она миролюбиво. Ответа не последовало. — Ни на секунду в этом не сомневаюсь. — Она снова посмотрела на Элен, но ее профиль все еще высился гордо, а глаза неподвижно смотрели в сторону. Бакалейная лавка была на следующем углу, не дальше чем в двадцати ярдах. Времени больше не оставалось. Джойс проглотила остаток гордыни. — Ну взгляни сюда, Элен, — прошептала она умоляющим голосом, взывавшим к благородству сестры. — Еще раз тебя прошу.

Ее воображению уже рисовалась омерзительная сцена. Элен поймана с поличным, разгневанный продавец, кричащий все громче и громче; ее собственные попытки объясниться и извиниться безрезультатны из-за невыносимого поведения сестры.

Конечно, Элен будет молча стоять рядом и не скажет ни слова, чтобы как-то оправдать себя или раскаяться, спокойно или презрительно улыбаясь, как будто она сверхчеловек, а все остальные грязь. Бакалейщик расвирепееет еще больше. Затем он наконец пошлет за полицией, а потом... Но что подумает Колин, когда узнает об этом? Его будущая свояченица арестована за кражу. Он может расстроить помолвку. — «Ну пожалуйста, не делай этого, — беспомощно взмолилась она. — Я прошу тебя!» — Но с тем же успехом она могла упрашивать профиль короля Георга на полукроне, чтобы тот повернул голову и подмигнул ей. Элен держала в кармане серебряную монету с изображением бледной и решительной молодой королевы. — «Пожалуйста! — повторяла

Джойс со слезами в голосе. Мысль о том, что она может потерять Колина, была мучитель-

ной. — Умоляю!» — Но запах бакалеи уже щекотал ей ноздри; они стояли на самом пороге. Она схватила сестру за рукав, но Элен стряхнула ее руку и шагнула вовнутрь. У Джойс заколотилось сердце, и она пошла следом навстречу своей гибели. Молодой человек за стойкой, заваленной сыром и беконом, приветливо улыбнулся двум девушкам. Сделав над собой усилие, чтобы не вызвать подозрение и заранее усмирить негодование, Джойс послала ответную улыбку, полную искусственного дружелюбия. Нет, это было уже преувеличением. Она изменила тактику. Спокойна, непринужденна, в общем, идеальная леди, да к тому же еще и обходительна; обходительна и (прекрасное слово) грациозна — как королева Александра¹. Грациозно она проследовала в магазин за своей сестрой. Но почему, думала она, почему она обошла тему преступления? Почему, зная Элен, она настолько потеряла рассудок, что стала оспаривать то, что воспитанный человек просто не сможет пойти на преступление? Реакция Элен была очевидной. Она сама напросилась на это.

Мать дала список покупок младшей дочери. «Потому что память у нее такая же девичья, как и у меня», — объяснила она свое решение с чувством самодовольства, которое так раздражало Джойс. Никто не имел права хвастаться своими недостатками, «Уж я сделаю из нее хорошую хозяйку. Да поможет ей Бог!» — добавляла мать с саркастическим смешком.

Стоя у прилавка, Элен развернула список, прочла его и затем надменным тоном и без всякой улыбки, словно отдавая приказание рабу, изрекла:

— Дайте сперва кофе. Два фунта, два шиллинга и четыре пенса. — Сказанное относилось к продавщице, которую, видимо, оскорбил развязный тон и повелительная манера Элен. Джойс

сочла своей обязанностью наградить ее лучистой улыбкой.

— Веди себя цивилизно, — прошипела Джойс, когда девушка отправилась за кофе.

Элен продолжала хранить презрительное молчание, хотя все в ней кипело от негодования. Спокойствие давалось с невероятным трудом. Цивильно! Подумать только. Да кто она такая, эта маленькая кривляка, замарашка, которая не моет свои подмышки? О, как она ненавидит это уродство, это безобразие, эту нечистоту! Как они ненавистны и отвратительны...

— Ради всего святого, — продолжала Джойс, — не делай глупостей. Я тебе категорически запрещаю...

Она не успела закончить свою тираду, когда Элен, не позаботившись о скрытности и ни от кого не таясь, протянула руку и взяла с прилавка одну из шоколадок, сложенных красивой витой колонной. Сделав это, она медленным движением положила плитку в корзинку.

Не дожидаясь завершения преступления, Джойс повернулась и отошла в сторону.

«Я скажу, что вижу ее первый раз», — подумала она, понимая при этом, что ей никто не поверит. Вся округа знала, что они с Элен сестры. Джойс едва не расплакалась. «О, Колин, Колин!»

Прямо перед ней высилась пирамида банок с консервированными лобстерами. Джойс остановилась.

«Спокойно, — приказала она себе. — Я должна сохранять спокойствие».

Сердце ее бешено колотилось от страха, краснофиолетовые лобстеры на этикетках, казалось, шевелили клешнями. Девушка боялась оглянуться. В ушах, пульсируя, шумела кровь, и каждую секунду

44 Джойс ожидала грозного окрика.

— Я и не знал, что вы интересуетесь лобстерами, мисс. — Чей-то услужливый голос почти прошептал эти слова на ухо Джойс.

Она вздрогнула от неожиданности, но сумела сохранить самообладание и даже улыбнуться, отрицательно покачав головой.

— Я очень рекомендую вам этот сорт, мисс. Уверен, что если вы попробуете одну баночку...

— Так, — громко произнесла в это время Элен своим прежним тоном феодального суверена, — а теперь я хочу купить десять фунтов сахара. Но его вы доставите нам домой.

Они вышли из магазина. Молодой человек за прилавком с сыром и беконом проводил их приветливой улыбкой. Они были очаровательные девушки и постоянные покупатели. Усилием воли Джойс еще раз заставила себя быть дружелюбной и спокойной. Но как только сестры вышли за порог, лицо Джойс исказилось от злости.

— Элен! — с яростью в голосе произнесла она. — Элен!

Но Элен продолжала хранить надменное молчание, словно профиль юной королевы на серебряном флорине.

— Элен! — Потеряв самообладание, Джойс изо всех сил ущипнула Элен за руку между рукавом и перчаткой.

Младшая сестра отдернула руку и, не поворачивая головы и не меняясь в лице, произнесла ледяным тоном:

— Если ты еще раз станешь действовать мне на нервы, я просто столкну тебя в канаву.

Джойс открыла рот, но смолчала и плотно сжала губы. Какой абсурд! Она поняла, что если скажет сейчас хотя бы слово, то Элен действи-

тельно столкнет ее в канаву. Джойс удовольствовалась тем, что негодуяще передернула плечиками.

В лавке зеленщика было многолюдно. Воспользовавшись скоплением людей, Элен, дожидаясь своей очереди, без труда стянула два апельсина.

— Хочешь, дам один? — ехидно спросила она у Джойс, когда они вышли из магазина.

На этот раз Джойс сыграла роль профиля на монете.

В магазине канцелярских принадлежностей они, на беду Элен, оказались единственными покупателями, но начинающая преступница нашла выход, рассыпав, якобы случайно, мелочь. Пока продавцы собирали с пола пенни и фартинги, Элен украла ластик и три отличных карандаша.

Неприятности начались в мясной лавке. Обычно Элен вообще не заходила в этот магазин. Ей внушали отвращение вид и тошнотворный запах бледных, обескровленных туш. Однако на этот раз она решительным шагом вошла внутрь. Невзирая на отвращение, вопреки всему — то было дело чести. Она сказала: «Каждый магазин», — и она сделает это, чтобы Джойс не смогла обвинить ее в мошенничестве. Первые тридцать секунд, пока ее легкие были полны чистого воздуха, который она вдохнула на улице, все было в полном порядке. Но вот она выдохнула и... о боже! — вдохнула. В следующую секунду Элен судорожным движением поднесла к носу платок. Острый, грубый трупный запах бесцеремонно проник сквозь барьер духов. Сначала аромат *Quelques Fleurs*, потом отвратительный смрад мертвой овцы и свернувшейся вонючей крови, смешанные с божественным запахом жасмина и амбры.

46 Стоящий впереди отошел от стойки, и мясник обернулся к ней. Он был уже пожилым рос-

лым мужчиной с большим квадратным лицом, излучающим отеческую заботу. «Похож на мистера Болдуина», — сказала она про себя и затем, не убирая платка, невнятно проговорила вслух:

— Полтора фунта огузочной части, пожалуйста.

Через минуту мясник вернулся с куском окровавленной туши.

— Это восхитительное мясо, мисс! — Он загреб влажную, жилистую плоть своей пятерней, затем тронул легкое. — В самом деле восхитительное. — Он представлял собой точную копию мистера Болдуина, мнущего пальцами страницы Вергилия или Вебба² с загнутыми углами листов.

«Никогда в жизни не буду есть мяса, — поклялась она, когда новый Болдуин отвернулся, чтобы разрубить тушу надвое. — Но что же мне взять?» — Она огляделась.

— Что бы тут... А, вот!.. — Вдоль одной из стен тянулась мраморная полка высотой в стол. На ней на подносах валялись багрово-серые говяжьи внутренности. Между ними на стальном крюке в форме буквы S, забрызганном кровью, висело обезглавленное баранье тело. Она посмотрела по сторонам. Момент был подходящий — мясник взвешивал ее кусок, его помощник о чем-то разговаривал с отвратительной старухой, похожей на бульдога, кассирша с головой ушла в счета. Стоя в одиночестве в дверях, Джойс реалистично исполняла роль зеваки, смотрящего на небо и размышляющего, превратятся ли капли в дождь. Элен сделала три быстрых шага, подхватила крюк и только собиралась уложить то, что на нем висело, в свою корзину, как услышала голос мясника:

— Осторожно, мисс, вы испачкаетесь, если прикоснетесь к нему.

Волна удивления была подобна крутому спуску на русских горках. Элен почувствовала приступ тошноты. Кровь хлынула к ее щекам, затем ко лбу и глазам, как у провинившейся кошки. Она попыталась засмеяться.

— Я просто хотела посмотреть. — Крюк упал, ударившись о мрамор.

— Я не хотел бы, чтоб вы портили платье, мисс. — Его улыбка была искренней и какой-то родной. Даже лучше, чем у мистера Болдуина.

Охваченная нервным шоком, парализовавшим ее с ног до головы, Элен истерически расхохоталась, что вынудило ее еще раз глубоко вдохнуть запах туш. Б-бrr!.. Она вновь упрятала нос в платок с *Quelques Fleurs*.

— Фунт и одиннадцать унций, мисс.

Она кивнула в знак согласия. Но что бы еще прихватить? Выхода не было.

— Прикажете что-нибудь еще?

Да, единственное, что оставалось, это купить что-то еще. Это позволило бы ей выиграть время, чтобы подумать и сыграть еще раз.

— Есть ли у вас... — она слегка замялась, — «сладкое мясо»?

Несомненно, у мистера Болдуина имелось «сладкое мясо», лежавшее на полке вместе с остальными внутренностями. Как раз рядом с крюком.

— Ну, не знаю сколько, — вымолвила она, когда он спросил ее о количестве. — Не очень много.

Она вновь осмотрелась, на этот раз в отчаянии, пока он занялся «сладким мясом». В этой дрянной лавчонке нет ничего — ничего, кроме крюка, что можно было бы унести. Но теперь, когда он поймал ее, крюк отпадал. Больше ничего. Если только...

48 Ее пронзила мелкая дрожь, но она, мрачная

как туча, стиснула зубы. Она настроилась пройти испытание до конца.

— Ну а теперь, — она возвысила свой голос, когда он завернул и перевязал бечевкой «сладкое мясо», — мне нужно немного вот этого! — И она указала на упаковки бледных сосисок, сваленных грудой на полке в другом конце магазина.

«Возьму, когда он отвернется», — думала она. Но кассирша, сверив счета, теперь оглядывала лавку. Черт бы, дьявол бы ее подрал! Элен готова была реветь от гнева, но затем — о, слава Богу! — девушка отвернулась. Элен протянула руку, но взгляд настиг ее. Пропади она пропадом! Рука безжизненно опустилась. Теперь было поздно — мистер Болдуин достал сосиски, повернулся лицом и пошел по направлению к ней.

— Все, мисс?

Элен неуверенно повела бровями, желая выиграть время.

— Не могу отделаться от мысли, что нужно что-то еще... Что-то такое... — Прошло несколько секунд, пауза становилась угрожающей; она выставила себя круглой дурой, но решила не сдаваться. Элен не желала признавать поражение.

— Сегодня утром мы получили бесподобную валлийскую баранину, — сказал мясник голосом настолько артистическим, что можно было подумать, будто он говорит о «Георгиках»³.

Элен покачала головой. Покупать баранину теперь было бы чистым безумием.

Внезапно кассирша опять начала писать. Момент наступил.

— Нет, — уверенно сказала она. — Я возьму еще фунт сосисок.

— Всего один? — с удивлением вымолвил псевдо-Болдуин. «Рано удивляешься, — подумала Элен. — Удивление наступит после».

— Да, всего лишь один, — сказала она и подкупаяще улыбнулась, как будто хотела выпросить скидку. Он снова отправился к полке. Кассирша не отрывала глаз от бумаг, старуха-бульдогом о чем-то тархтела с помощником. Молниеносно, ибо нельзя было терять ни секунды, Элен рванулась к мраморной полке недалеко от нее. На виду лежал уже облюбованный ею кусок печенки.

Пальцы ее врылись в склизкую, каракатицевидную мякоть. Гнусная тварь! В конце концов ей пришлось взять ее в ладонь. «Слава Всевышнему, что Он надоумил меня надеть перчатки». Бросив мясо в корзину, она вдруг поймала себя на мысли, что была какая-то причина, которая могла принудить ее взять этот омерзительный сгусток в рот таким, как он есть, сырым, прожевать, лелея между языком и нёбом, и проглотить. Она вновь содрогнулась от отвращения, которое на этот раз так сильно скрутило горло, что казалось, было готово разодрать ей нутро.

Устав от изображения метеоролога, Джойс стояла, укрывшись зонтом, и смотрела на хризантемы в витрине цветочного магазина в соседнем доме. Она заранее заготовила оскорбительные слова, которые скажет сестре, когда та выйдет наружу, но, увидев ее понурое лицо, забыла даже упрекнуть ее за поддержку.

— Элен, что случилось?

Вместо ответа Элен истерически разрыдалась.

— Скажи же, что?

Она замотала головой и, отвернувшись, принялась стирать с лица слезы.

50 — Расскажи...

— О-о-о... — заголосила Элен так, будто ее ужалила оса. Лицо приобрело выражение смертного отвращения, полностью изуродовавшего ее. — Как гнусно, как все это мерзко, — повторяла она, глядя на свои пальцы. Затем, поставив корзину на тротуар, она сняла с руки перчатку и резким, отчаянным жестом остервенело швырнула ее в канаву.

Глава 6

6 ноября 1902 г.

Послышался свист вожатого, и поезд покорно двинулся в путь; вот проехали Китинг, еле-еле шевелясь, вот Брэнсон, вот Пиквик, Оул и Веверли, миновали на высокой скорости Бичем, Оубридж, Картер, Пиэрс, пронеслись мимо сталезавода в Хампфри, Лоллингдона, въехали в Хоуэт, затем промчались мимо Эно на скорости почти двадцать миль в час, потом Пирс, Пирс, Пирс, и внезапно перрон, и его ограждения замелькали и растворились в зелени сел. Энтони сидел в уголке и беззаботно дремал, запрокинув голову. Шум в мозгу наконец прекратился. Он выкарабкался из того черного колодца, в который они столкнули его, и вновь чувствовал себя свободным. Колеса радостно пели у него в ушах: «Спаси состав, сорви стоп-кран, а без причин пять фунтов штраф». Но как невыносимо отвратителен был поминальный обед у бабушки.

— Работай, — говорил Джеймс Бивис. — В наше время остается только это.

Брат кивнул.

— Только это, — согласился он. Затем, секунду помедлив, с ощущением до предела громко говорящей совести добавил на своем странном жаргоне, бывшем, по его мнению, разговорным

языком: — Жизнь сбила в нокаут. — Понятие, которое Джон Бивис имел о простонародном английском, было почти целиком сформировано на основе книг. Боксом он не интересовался. — К счастью, — продолжал он, — работы сейчас хоть отбавляй. — Он думал о своих лекциях, о вкладе в составление оксфордского словаря, о горах прочитанных книг, типографских гранках, огромной, составленной им картотеке, о письмах от коллег-филологов и об изнурительной статье о французском сленге периода якобинской диктатуры.

— Нет, мне не хочется сачковать, — говорил он, вставляя разговорное словечко, выделяя его характерной интонацией. Джеймс не должен думать, что можно забыть горе, уйдя целиком в работу. Он подыскивал нужную фразу. — Это... божественная музыка, с которой ты сливаешься.

Джеймс продолжал слегка кивать головой, как будто заранее знал все, что способен сказать его брат. Его лицо исказилось от произвольных мышечных подергиваний. Он был весь снедаем нетерпением, словно огнем, прожигавшим его до костей.

— Абсолютно верно, — говорил он. — Абсолютно правильно. — Он еще раз кивнул. Повисла долгая пауза.

«Завтра, — думал Энтони, — будет алгебра у старого Джимбага. — Ожидание не из приятных — он не был силен в математике даже в лучшие дни, когда мистер Джеймсон шутил, он все равно оставался для Энтони грозным учителем. — Если Джимбаг опять насадит меня на крючок, как в прошлый раз...»

Вспоминая эту сцену, Энтони нахмурился, кровь бросилась ему в лицо. В тот день Джимбаг саркастически издевался над ним и держал его за волосы. Энтони разревелся, да и кто на его ме-

сте не заревел бы? На уравнение, которое он пытался решить, капнула слеза, оставив на бумаге огромную круглую кляксу. Сволочь Стейтс потом дразнил его за это. К счастью, Фокс пришел ему на помощь. Над Фоксом смеялись, потому что он заикался, но по натуре он был человеком на редкость порядочным.

В Ватерлоо Энтони с отцом сели в двухколесный экипаж. Дядя Джеймс предпочел пройти пешком.

— Я дохожу до клуба за одиннадцать минут, — объявил он. Его рука потянулась к карману жилета, он вытащил часы, затем повернулся и, не говоря ни слова, зашагал широким шагом к вершине холма.

— Юстон! — крикнул Джеймс Бивис кебмену.

Осторожно ступая по гладкому скату, лошадь двигалась вперед, экипаж покачивался, словно корабль. Едва слышно Энтони мурлыкал какую-то песенку. Поездка в экипаже всегда приводила его в состояние неопишуемого восторга. Перед самым склоном кучер хлестнул лошадь, и та перешла на рысь. Проносясь мимо, они улавливали запахи пива, жареной рыбы, затем проехали «Гудбай, Долли Грей» на углу и на полном ходу поскакали по Ватерлоо-роуд. За окнами экипажа ревели и скрежетало уличное движение. Если бы не отец, Энтони запел бы вслух.

Над крышами домов висело яркое, подернутое дымным маревом послеполуденное небо, и внезапно взору его предстала ослепительная река с черными баржами и буксиром, а над горизонтом вдруг поднялся в небо, словно гигантский воздушный шар, громадный купол собора Святого Павла, а вот и Стрелковая башня.

На мосту какой-то прохожий бросал хлеб чайкам. Бледные, почти невидимые, они со свистом рассекали воздух, кружились, размахивая серыми крыльями, и, замедляя лет, внезапно взмы-

вали к свету, струящемуся сверху, как белоснежные сполохи на чернеющем небе, затем снова спешили во тьму, словно испугавшись яркого солнца.

Увидев их, Энтони перестал мурлыкать. Конькобежец, прорезающий корку льда, устремится к тебе точно так же, скользя на острых полозьях. И вдруг, словно лишенный покоя, он как будто постиг таинственную значимость этих легковесных птиц.

— Мальчик мой, — начал мистер Бивис, нарушив долгое молчание. Он сжал плечо Энтони. — Мальчик дорогой!

С замершим сердцем Энтони ждал, что он скажет дальше.

— Теперь мы должны держаться друг друга, — сказал мистер Бивис.

Мальчик невнятно выразил свое согласие.

— Не расставаться. Потому что мы оба... — Он запнулся. — Оба любили ее. — И вновь повисла тишина. «Если бы он только остановился на этом», — внутренне взмолился Энтони. Но отец продолжал. — Мы навсегда останемся ей верны, — проговорил он. — Никогда не предадим ее, правда?

Энтони кивнул.

— Никогда, — с жаром повторил Джон Бивис. — Никогда! — И он продекламировал строчки, вертевшиеся у него в голове все эти дни:

Когда болезнь или тоска случит
Меня с тем телом, что в могиле спит,
Ты поселись в моей душе пустой,
Давным-давно покинутой тобой.
Останься там.

Затем громко, почти вызывающе продолжил:

54 — Она никогда не будет мертва для нас! Она будет вечно жить у нас в сердцах, ведь так? —

Пауза. — Она приказала нам долго жить, — не уни-
мался отец, — и мы будем жить вместо нее. Жить
честно, благородно, так, как она хотела, чтоб мы жи-
ли. — Он чуть было не перешел на жаргон — такого
рода жаргон, который понятен школьникам. — Будем
жить... ну, как два пацана, — неестественно растяги-
вая слова, произнес он. — А пацаны, — продолжал он
сбивчиво, словно импровизируя, — пацаны они всег-
да пацаны. Настоящие однокашники. Мы с тобой бу-
дем закадычными, правда, Энтони?

Энтони снова кивнул. Он испытывал смешан-
ное чувство стыда и недоумения. Слово «однокаш-
ники» было взято из школьной летописи. Читать это
без смеха было невозможно — обычно чтение сопро-
воджалось злобным улюлюканьем. Однокашники!
И это он и его отец! Он почувствовал, как красне-
ет. Высунув голову из бокового окна, чтобы скрыть
волнение, он увидел, как одна из серых птиц слетела
с неба и приближалась к мосту все ближе и ближе. За-
тем она изменила курс, взяв влево, сверкнула, преоб-
разилась и тотчас же исчезла.

В школе все было ужасающе «как нужно». Каза-
лось, уж слишком натянуто. Одноклассники вежли-
во соблюдали его неприкосновенность, не оскорбляя
его бурным проявлением собственного хорошего на-
строения, и, продемонстрировав ему несколько раз
свою фальшивую и неестественную дружбу, оставили
его в покое. Это, как Энтони скоро обнаружил, бы-
ло равносильно полному бойкоту. Отношение к нему
в классе было хуже, чем к вору и доносчику. Никогда
с самых первых дней пребывания в школе он не чув-
ствовал себя таким покинутым, как в этот вечер.

— Жаль, что ты сегодня не был на фут-
больном матче, — сказал Томпсон, когда все

сели ужинать. Он говорил будто с приехавшим навестить его родным дядей.

— Хорошо сыграли? — спросил Энтони с той же наигранной вежливостью.

— О, великолепно! Правда, мы проиграли. Два—три. — Разговор почти выдохся. Чувствуя неудобство, Томпсон судорожно думал, что сказать теперь. Прочитать ему лимерик о леди из Илинга, сочиненный Батервортом? Нет, сегодня он не станет говорить этого вслух, когда мать Бивиса... Тогда что? Громкий смех на конце стола снял напряжение. Теперь у него была уважительная причина, чтобы отвернуться. — Что там такое? — закричал он с деланным интересом, и скоро они уже болтали и смеялись вместе. Словно надевший шапку-невидимку, Энтони смотрел и слушал.

— Агнесса! — кто-то позвал служанку. — Агнесса!

— Агнесса прекрасная принцесса! — сказал Марк Стейтс приглушенным голосом, чтобы она не слышала. Любое оскорбление слуг считалось в Балстроуде тягчайшим преступлением, и именно потому фраза была встречена с огромным энтузиазмом, даже несмотря на *sotto voce**. «Прекрасная принцесса» вызвала взрыв хохота, хоть сам Стейтс остался невозмутимым. Отсутствие реакции на смех, причиной которого был он сам, придало ему несравненное ощущение превосходства и силы. Кроме того, в традициях его семьи было не улыбаться. Не было случая, когда бы Стейтс разделил овацию, вызванную своей шуткой, эпиграммой или остроумным ответом.

Оглядев стол, Марк Стейтс увидел, что Вениамин Бивис, этот несчастный с лицом ребенка, не смеялся, как остальные, и на мгновение почувствовал страст-

ное негодование к тому, кто осмелился не выказать удовольствия от его шутки. Оскорбление усилилось еще более оттого, что Вениамин не представлял собой ничего особенного. Не умел играть в футбол, еле-еле держал в руках крикетную битку. Единственное, в чем он был хорош, так это в работе. Работа! И этот оборвыш посмел сидеть с постным лицом, когда он... Но внезапно он вспомнил, что у бедняги умерла мать, и, немного оттаяв сердцем, наградил его, находившегося на почтительном расстоянии, улыбкой с тенью признания и сочувствия. Энтони улыбнулся в ответ и сразу же отвел взгляд, покраснев от едва заметного смущения, будто его поймали на чем-то недозволенном. Сознание собственного великодушия по отношению к растерявшемуся Вениамину восстановило Стейтса в хорошем расположении духа.

— Агнесса! — крикнул он. — Агнесса!

Огромная, вечно сердитая служанка наконец появилась.

— Еще джема, пожалуйста.

— Джема еще, — пропищал Томпсон. Все снова засмеялись, не потому, что шутка оказалась удачной, а просто из-за того, что хотелось посмеяться.

— И хлэфа.

— Н-да, еще хлэфа.

— Агнесса, пожалуйста еще хлэфа.

— Да уж, тебе хлэфа, — с негодованием выговорила служанка, поднимая со стола пустое блюдо из-под бутербродов. — Почему ты не можешь сказать нормально?

Взрыв смеха прозвучал с удвоенной громкостью. Нет, они никак не могли сказать нормально, совершенно не могли, ибо в соответствии с традицией, которая существовала в Балстроуде, хлеб имелся хлэфом в знак спайки всех учеников,

и это давало им превосходство над всем окружающим непосвященным миром.

— Еще, еще пепина хлэфа, — орал Стейтс.

— Хлэфовина-пепин, хлэфовина-пепин!

Смех дошел до стадии истерики. Все вспомнили случай, произошедший в прошлом семестре, когда они проходили Пепина ле Брефа¹ по истории Европы.

— Пепин ле Хлэф! Пепин ле Хлэф!

Первым взорвался Батерворт, затем Пембрук-Джонс, вслед за ними Томпсон и, наконец, все второе отделение, возглавляемое Стейтсом. Старик Джимбаг попался на самую страшную наживку, что, однако, выглядело еще смешнее.

— Шайка маленьких идиотов, — отрезала Агнесса и, увидев, что они все еще смеются, ушла на кухню и принесла оттуда еще один поднос хлеба. — Просто дети! — повторила она с явным намерением оскорбить их. Это тем не менее нисколько не покорило ораву, вызвав нулевую реакцию. Дети не обращали на нее внимания, закатываясь как помешанные от беспричинного смеха.

Энтони посмеялся бы вместе с ними, но губы его были способны всего лишь на робкую улыбку, отчужденно-вежливую, какой улыбается не владеющий языком иностранец, который не сумел уловить смысл шутки, но хочет выразить свое одобрение тем, кто желает повеселиться. Минуту спустя, почувствовав голод, он внезапно обнаружил, что его тарелка пуста. Просить еще хлеба, хотя бы ломтик, святому изгнаннику было бы бесчестным и наглым — бесчестным, потому что человеку, которого смерть матери сделала почти мучеником, определенно не подобало изде-

ваться и говорить на жаргоне, а наглым, по-

58 тому что чужак не имел права пользоваться

языком, которым говорила элита. Он колебался в нерешительности и наконец вымолвил:

— Передайте мне, пожалуйста, хлеба.

Слова прозвучали крайне глупо и неестественно, и Энтони охватил огонь, прожегший его до корней волос.

Вплотную прильнув к соседу с другой стороны, Томпсон восторженно шептал ему на ухо лимерик.

— ...По всему потолку! — закончил он, и все завершали от хохота.

Слава Богу, Томпсон не расслышал. Энтони испытал глубокое облегчение. Несмотря на чувство голода, он не стал просить во второй раз.

У главного стола началась толкотня. Старый Джимбаг поднялся на ноги. Невыносимый, оглушающий грохот стульев,двигаемых по деревянной поверхности, наполнил помещение, затем растворился в гробовой тишине.

— За все, что мы получили... — Речь оборвалась, и ученики затопали к двери.

И коридоре Энтони почувствовал чью-то руку на плече.

— Привет, В-вениамин!

— Привет, Фокс! — Он не назвал его Лошадиной Мордой из-за того, что произошло этим утром. «Лошадиная Морда» прозвучало бы так же неблагозвучно и неуместно при данных обстоятельствах, как только что Вениамин.

— Я х-хочу к-кое-что т-тебе показать, — сказал Брайан Фокс, и его угрюмое, совсем некрасивое лицо, казалось, внезапно просияло, когда он улыбнулся Энтони. Над Фоксом смеялись, потому что он заикался и был похож на лошадь, но почти все его любили. Даже несмотря на то, что он слишком много зубрил и не был хорошим игроком. Он был при-

мерным учеником, не любил грубых шуток и ни разу ни в чем не провинился перед учителями. Но даже при всем этом он был всеобщим любимцем из-за своей чистоты и порядочности. Был, может быть, слишком порядочным, поскольку держаться с Нью Багзом так, как это делал он — совсем на равных, — было, очевидно, неправильно. Смело со стороны девятилетних считать себя ровней тем, кому одиннадцать или двенадцать. Нет, Фокс определенно заблуждался насчет Нью Багза, в этом не было сомнения.

— Что у тебя там? — спросил Энтони, чувствуя огромную благодарность к Лошадиной Морде за то, что тот обращался с ним нормальным, естественным образом, и за то, что говорил слегка грубовато, боясь, как бы Энтони не догадался, что таится у него в душе.

«Пошли, покажу, — хотел сказать Брайан, но у него вышло всего лишь: — п-п-п...» Долгое шлепанье губами затянулось. В другой раз Энтони мог бы засмеяться и крикнуть: «Смотрите, Лошадиная Морда изображает морскую болезнь!» Но сегодня он не сказал ничего, только подумал, как несчастен, должно быть, был этот бедный парень. В конце концов Брайан Фокс отказался от попытки произнести «Пошли, покажу» и вместо этого выдавил из себя: «В моей к-коробке для игрушек».

— З-здесь, — сказал Брайан, приподнимая крышку своего ящика.

Энтони взглянул внутрь и при виде изящного маленького корабля с тремя мачтами, квадратным рангоутом и бумажными парусами воскликнул:

— Слушай! Во здорово! И ты сделал это сам?

Брайан кивнул. К его услугам была целая столярная мастерская — все инструменты, которые

ло так похоже на настоящее. Он хотел уже рассказать, что представляет собой каждая частица корабля, и разделить восторг от достигнутого с Энтони, но боялся своего заикания. Этот восторг исчез бы немедленно, как только он начал тщательно все описывать. Кроме того, «рангоут» было ужасным словом.

— М-мы ис-с-спытаем его сегодня ночью, — с удовлетворением выговорил он. Улыбка, сопровождавшая слова, несомненно, служила извинением за всю нечеткость, с которой они были произнесены. Энтони улыбнулся в ответ. Они понимали друг друга.

Бережно, любовно Брайан открепил три мачты и опустил их вместе с парусами во внутренний карман жилета. Корпус поместился в кармане бридж. Зазвенел звонок, возвещавший об отходе ко сну. Брайан покорно закрыл ящик с игрушками, и им снова пришлось карабкаться по ступенькам.

— С-сегодня я в-выиграл п-пять л-лишних игр с м-моим с-старым л-л... к-крейсером, — поправился он, сочтя слово «линкор» слишком тяжелым.

— Пять! — выкрикнул Энтони. — Вот молодец, старина Лошадиная Морда!

Забыв о том, что он был парией, святым изгнанником, Энтони во весь голос расхохотался, почувствовав радость и легкость. Такое с ним случилось всего один раз — в спальне, где он раздевался, — из-за зубного порошка.

«Два раза в день, — чудилось ему. Он вспоминал, как опускал смоченную щетку в розовую пыль, пахнувшую карболкой. — И если у тебя есть время, после обеда тоже. Из-за микробов».

«Но, мама, не могу же я в самом деле чистить их три раза в день!»

Удар по его самолюбию (она что, сомневалась в чистоте его зубов?) вынудил его на гру-

бость. Он придумал отговорку, вспомнив, что в школе было не принято уходить в спальню в течение дня.

С другой стороны деревянной стенки, отделявшей его комнату от комнаты Энтони, Брайан Фокс тщился влезть в пижаму. Сперва левая штанина, затем правая. Но, только начав натягивать их, он вдруг чуть не закричал от внезапно пришедшей ему в голову мысли: а что, если и его мама вдруг умрет? Она действительно могла умереть. Если это случилось с матерью Бивиса, может случиться и с его. И тотчас же он увидел ее лежащей в домашней постели ужасно бледной. И предсмертный хрип, тот самый предсмертный хрип, о котором так часто приходилось читать, — он отчетливо услышал его. Он был похож на шум, издаваемый одной из деревянных погремушек, которыми пугают ворон. Громкий и непрерывный, как будто исходивший от машины. Человек, пожалуй, такого бы издать не смог. И тем не менее он исходил из ее рта. Хрип был предсмертным. Она умирала.

Брайан стоял подле в брюках, закатанных по колено, в безмолвии уставившись глазами, полными слез, на покрытую коричневым лаком перегородку. Горе было непоправимым. Гроб, затем опустелый дом, и, когда он будет ложиться спать, никто не придет пожелать ему спокойной ночи.

Внезапно выведя себя из состояния неподвижности, он натянул пижамные брюки и порывистым движением завязал тесемки.

«Но она не умерла, — сказал он себе. — Не умерла».

Через две перегородки, в спальне Томпсона, вдруг раздался взрыв от привязанной к ручке хлопушки, когда кто-то резко открыл дверь. Послышались крики, затем взрывы смеха. Засмеялся даже Брайан, который обычно не находил ничего смешного

62 в том, что человека с ног до головы обсыпало

конфетти. Но в этот момент он почувствовал громадное облегчение, и любой повод для смеха был кстати. Она была все еще жива. И словно ей понравилось бы то, что он смеется над вещью достаточно искусной, он просто выплеснул наружу свою благодарность ей. Он захохотал, затем внезапно осекся, подумав о Бивисе. Его мать была по-настоящему мертва. О чем должен думать он? Брайан почувствовал стыд, оттого что посмел смеяться над этим.

Потом, когда везде потушили свет, он взобрался на решетку в изголовье своей постели и, заглянув поверх перегородки в комнату Энтони, прошептал:

— Слышь... п-пойдем п-посмотрим, как плавают н-новый к-к... новое судно?

Энтони вылез из постели и надел халат и туфли, поскольку ночь выдалась холодная. Затем он бесшумно встал на стул и оттуда, отдернув длинную байковую занавеску, на оконный эркер. Занавеска качнулась за его спиной, оставив его перед стеклом, соединяющим края толстой стены.

Окно было узким и высоким и делилось на две части. Нижняя, большая часть состояла из двух рам; маленькая фрамуга сверху крепилась с помощью шпингалетов и открывалась наружу. Когда рамы были закрыты, нижняя из них образовывала узкий выступ, стоя на котором мальчик мог без труда просунуть голову и плечи сквозь небольшое квадратное отверстие сверху. Высунувшись из него, можно было видеть черепичный скат, и прямо перед окном шел длинный желобок для дождевой воды.

Желобок! Брайан был первым, кто открыл его возможности. Кусок торфа, украдкой пронесенный в спальню в оттопыренном кармане, несколько камней — вот и все, что требовалось для сооружения дамбы. Когда она была построена, нужно

было собрать все кружки для умывания, наполнить их водой и вылить все их содержимое в желобок. На следующее утро умывание отменяется, ну и что? Длинное, узкое море потянулось по крыше в темноту. Утлое суденышко плыло по нему, и эти пятьдесят футов безбрежного океана будили воображение. Единственной опасностью являлся дождь. Если он был сильным, то кто-то должен был во что бы то ни стало сломать дамбу. Иначе желобок бы переполнился, что повлекло бы невольное расследование и мало-приятное наказание.

Устроившись высоко между холодным стеклом и ворсистой байковой занавеской, Брайан и Энтони высунулись каждый из своего окна в темноту. Кирпичная стенка была единственным, что разделяло их, и они говорили шепотом.

— Ну а теперь, Лошадиная Морда, — скомандовал Энтони, — дуй!

И, как мифологический Зефир на картинке, Лошадиная Морда дунул. Под грузом бумажного паруса лодка медленно скользила по узкому водоходу.

— Здорово! — в упоении произнес Энтони и, перегнувшись через раму так, что его щека почти соприкасалась с водой, стал следить полузакрытым, специально невооруженным глазом, как игрушка приближается, превращаясь, словно в сказке, в огромный трехмачтовый зыбкий фантом, появляющийся издалека, безмолвно прорезающий тьму идвигающийся прямо на него. Огромный линкор в сто десять орудий под тучевидным парусом, надуваемым норд-остом, несется со скоростью в десять узлов, и восемь колоколов бьют с... Он резко вздрогнул, как только передняя мачта пришла в соприкосновение с его носом.

64 Мечта вновь стала реальностью.

— Как самый настоящий корабль, — сказал он Брайану, повернув маленькую лодочку в другую сторону. — Нагни голову и скоси взгляд. Я буду дуть.

Медленный, величественный трехмачтовый поплыл обратно.

— П-похож на «Борющегося Т-т...». Ты знаешь эту картину.

Энтони кивнул. Он никогда не любил выдавать свое незнание.

— Т-темерера, — наконец выговорил тот.

— Да, да, точно, — с явным нетерпением произнес Энтони, как будто знал это всю жизнь. Он снова согнул голову, чтобы еще раз взглянуть на огромный линкор в сто десять орудий, гонимый норд-остом; маленькое суденышко не хотело уступать ветру. И все же это был прекрасный корабль.

— Прекрасный! — сказал он вслух.

— Т-только с-слегка п-перекошен, — отвечал Брайан, критикуя свою работу.

— Мне очень нравится, — похвалил Энтони. — Он словно кренится под штормовым ветром. Кренится. — Ему доставило огромное удовольствие произнесение этого слова — он никогда не употреблял его, только видел в книгах. Восхитительное слово! И, не отказывая себе в удовольствии повторить его еще раз, произнес: — Гляди, как он кренится, когда дует ураган.

Он дунул, и маленький кораблик чуть не опрокинулся. Ураган, говорил он про себя, сбил его вправо, разорвав передние брам-стенги² и спинакеры³, сделал пробоину в нашем единственном корабле, накренил его так, что планшир коснулся воды... Но дуть не переставая долгое время было утомительно. Энтони посмотрел наверх, взгляд его бродил по небосклону, и он напряженно вслушивался в тишину. Воздух был на удивление безмолвным, ночь — почти

безоблачной. А какие звезды! Вон Орион, у которого ноги запутались в ветвях старого дуба. Вон Сириус и еще тысячи, миллионы, чьих названий он не знал.

— О боже! — прошептал он наконец.

— К-как ты д-думаешь, д-для чего их с-столько? — спросил Брайан после долгого молчания.

— Кого, звезд?

Брайан кивнул.

Вспомнив слова дяди Джеймса о том, что они совершенно бесполезны, Энтони дал соответствующий ответ.

— Но должно же б-быть у них какое-то п-предназначение, — возразил Брайан.

— Почему?

— П-потому, что все д-для чего-то с-создано.

— Я не верю в это.

— Н-ну, допустим, п-пчелы, — с усилием произнес Брайан.

Энтони был потрясен. Они изучали ботанику у старого Бамфейса, рисовали всякие пестики и тычинки. Пчелы — конечно же, они для чего-то существовали. Как жаль, что он не помнил дословно, что говорил дядя Джеймс. Железные что-то природы. Но что железное?

— И г-горы, — старательно артикулировал Брайан. — Если б-бы их н-не было, н-не шел бы д-дождь.

— Ну и для чего, ты думаешь, они существуют? — поинтересовался Энтони, указывая на звезды движением подбородка.

— М-может быть, т-там живут л-люди.

— Разве только на Марсе, — сказал Энтони с непоколебимостью ортодокса.

Наступила тишина. Затем уверенно, будто наконец решившись высказаться, чего бы то ни стоило,

66 ло, Брайан произнес:

— Ин-ногда мне к-кажется, что 3-звезды н-наделены ж-живой д-душой. — Он с опаской взглянул на своего собеседника: не собирается ли Вениамин смеяться. Но Энтони, смотрящий на небо, не показывал ни малейшей тени издевки, лишь кивал с серьезным видом в знак согласия. Стыдливая, беззащитная тайна Брайана была в безопасности, не получив оскорбительного удара. Он чувствовал глубокую благодарность, но внезапно какая-то огромная волна поднялась в его душе, словно буря. Его почти душил странный прилив братской любви и (о боже! Если бы это была моя мать!) всепоглощающего сочувствия к бедному Вениамину. В горле застыл комок, на глаза навернулись слезы. Ему захотелось сжать руку Вениамина, но он, вовремя поборов порыв, сдержался.

Тем временем Энтони все еще рассматривал Сириус. «Жива, — повторил он про себя. — Жива». Сириус был похож на сердечко на небе, пульсирующее светом. Тотчас же Энтони припомнился птенец, которого он нашел на прошлых пасхальных каникулах. Он лежал на земле и не мог летать. Мать посмеялась над Энтони, потому что он не захотел поднять птичку. Больших зверей он любил, но по какой-то причине ему становилось страшно, когда нужно было прикоснуться к чему-то маленькому. В конце концов, сделав над собой усилие, Энтони взял птенца в руки, и это маленькое создание теперь показалось сердечком в оперенье, удары которого он ощущал ладонью и пальцами. Там, в вышине, над кронами деревьев, Сириус был другим сердцем. Живым. Но дядя Джеймс, несомненно, стал бы смеяться.

Уязвленный этим несуществующим презрением и стыдясь оттого, что его неприкрытая детскость вышла наружу, он негодуяще выговорил, отворачиваясь от звезд:

— Они не могут быть живыми.

Брайан поморщился. «Почему он рассердился?» — удивился он. Затем промолвил вслух:

— Ну если Б-бог жив...

— Мой отец не ходит в церковь, — возразил Энтони.

— Н-нет, п-просто... — Как не хотелось ему вступить в спор прямо сейчас.

Энтони не мог больше ждать.

— Он не верит во всю эту чушь.

— Н-но дело в Б-боге, не в ц-церкви. — О, если бы ему не мешало это чудовищное заикание! Он бы выразил свои мысли так ясно, он бы в точности повторил все, что говорила его мать. Но неведомо почему даже ее слова казались в эту минуту неуместными. Дело не в том, что говорить, а в том, чтобы заботиться о людях, заботиться и не причинять им боли.

— Мой дядя, — сказал Энтони, — совсем не верит в Бога. И я тоже, — добавил он исподтишка.

Но Брайан не принял вызов.

— П-послушай, — резко выпалил он. — П-послушай, В-в-в... — Напряжение, которое он испытывал теперь, вынудило его заикаться еще сильнее. — В-вениамин, — наконец произнес он. Было невыносимо осознавать, как любовь, закипевшая в нем, так грубо обманута. Сдерживаемый причудливо бессмысленным заграждением, бурный поток ширился и наполнялся, набирая силу, пока наконец не достиг такой духовной мощи, что, забыв о странности подобного поступка, Брайан положил руку на плечо Энтони. Пальцы опустились по рукаву, пока не коснулись обнаженного запястья, но заикание всякий раз стояло между его чувством и тем, к кому оно было

направлено. Он сжал руку мальчика отчаянно,

— Я ч-чрезвычайпо с-сочувствую т-твоему г-гору, — продолжал Брайан. — Я н-не хотел г-говорить эт-того р-раньше. П-по крайней м-мере н-не перед вс-семи. З-знаешь, я д-д-д... — Он еще крепче сжал руку Энтони, словно пытаюсь восполнить свое косноязычие красноречивым жестом, пытаюсь доказать ему, насколько мощен был поток в его душе, насколько он был неудержим; даже несмотря на многочисленные пороги в его русле. Он начал мысль сначала, набрав достаточно сил, чтобы перешагнуть этот барьер. — Я д-думал сейчас, — сказал он, — что это м-могла быть моя мать. О, Б-бивис, это, д-должно быть, ужасно!

Энтони смотрел на него сперва удивленно, с явно заметным подозрением, почти страхом, отобразившимся на лице. Но когда Брайан продолжил свою сбивчивую речь, первое чувство сострадания, сковавшее его, рассеялось, и, не чувствуя стыда, он заплакал.

Опасно балансируя на высоком выступе окон, они долго стояли, не проронив ни слова. У обоих щеки покрылись холодными слезами, но утешающая рука, схватившая запястье Энтони, была упрямо цепкой, как рука утопающего.

Внезапно из мрака налетел гулкий порыв ветра, взвив в воздух опавшие листья. Маленькое трехмачтовое судно пустилось, словно разбуженное после обморочного сна, бесшумно, с какой-то намеренной спешкой, кормой вперед по желобку.

Слуги легли спать, и в доме все стихло. Медленно, словно кошка в крошечной тьме, Джон Бивис вышел из своего кабинета и взобрался, миновав площадку мезонина, по отвесной лестнице, ведущей к гостиной, на третий этаж. Снаружи по пустынной мостовой зацокали копыта и тотчас смолкли

во мраке ночи. Снова воцарилась тишина — тишина его одиночества, тишина (он содрогнулся) ее могилы.

Несколько секунд он стоял не двигаясь, вслушиваясь в удары своего сердца, затем уверенным шагом поднялся еще на две ступеньки, пересек темную площадку и, открыв дверь, включил свет. Его взору предстало собственное отражение в зеркале над туалетным столиком — он поразился бледности своего лица. Серебряные кисти были на месте, миниатюрные подносы, подушечки для игл, ряд хрустальных бутылей — все нетронуто. Он осмотрелся. Угол широкого розового одеяла загнут, он заметил две подушки, лежащие вплотную друг к другу, а над ними, на стене, висела фотогравюра «Сикстинской Мадонны», которую они купили вместе в магазине рядом с Британским музеем. Обернувшись, он снова увидел себя в зеркале гардероба в полный рост, в траурном сюртуке. Гардероб... Он шагнул в середину комнаты и повернул ключ в замке. Тяжелая стеклянная дверь распахнулась, издав характерный скрип, и внезапно он ощутил до боли знакомый запах ее присутствия, едва уловимое благоухание фиалкового корня, к которому примешивался, как и раньше, аромат каких-то более острых, тонких духов. Серое, белое, зеленое, розовое, цвета раковины, черное — он пересчитал ее платья.

Казалось, будто она умирала десять раз и десять раз висела здесь, обмякшая, пугающе обезглавленная и все же, будто в насмешку, с ореолом вокруг головы, прекрасно-таинственным, одухотворенным символом ее жизни. Он протянул руку и дотронулся до гладкого шелка, кисеи, бархата... Потревоженные прикосновением складки пахнули ароматом еще сильнее. Он закрыл глаза и вдохнул запах, воображая, будто она здесь. Но все, что осталось от нее, было

предано огню, а пепел покоился на дне той ямы на Лоллингдонском кладбище.

— Останься там! — отчетливо прошептали губы Джона Бивиса.

Комок еще сильнее подступил к горлу, слезы стояли в глазах. Захлопнув дверь гардероба, он отвернулся и принялся разоблачаться.

Внезапно он почувствовал все усиливающуюся дурноту. Ему стоило невероятных усилий умыться. Забравшись в постель, он тотчас же заснул.

В часы перед восходом солнца, когда свет нового дня едва забрезжил и уличный шум начал проникать сквозь темную завесу, окутавшую его мозг, Джону Бивису приснилось, будто он идет по коридору, ведущему в его лекционный зал в Королевском колледже. Даже не идет, а бежит. Коридор вдруг оказался бесконечным, и какой-то неведомый голос требовал быстро добраться до конца и не опоздать. Не опоздать куда? Он не знал, но, убыстряя и убыстряя шаг, он чувствовал, что тошнота все усиливалась, как и раньше, мутящее отвращение нарастало и становилось все невыносимее с каждой минутой. Когда он наконец открыл дверь лекционного зала, вдруг оказалось, что это не лекционный зал, а спальня в их доме, и Мейзи лежала там на кровати, задыхаясь от приступа астмы; лицо ее было багрового цвета, ожидая страшного приближения неподвижности, а губы, похожие на два рубца, синели мертвенной бледностью. Сновидение было настолько ужасным, что он проснулся в холодном поту. Утренний свет слабо пробивался сквозь занавески, стеганое одеяло раздражало глаза малиновым цветом, зеркало в гардеробном шкафу блестело ослепительным блеском. Снаружи завывал молочник, обходя дворы: «Молоко-о-о!.. Молоко-о-о!..»

Все было по-домашнему обычно, каждая вещь

лежала на своем месте. Это был всего лишь кошмарный сон. Затем, повернув голову, Джон Бивис увидел, что место рядом на широкой постели пусто.

Колокольчик звенел все ближе и ближе, пробиваясь сквозь томную негу после глубокого сна, пока наконец его навязчивое дребезжание не приблизилось вплотную к вискам, беззастенчиво терзая обнаженный до нейросетчатки мозг. Энтони открыл глаза. Какой отвратительный шум! Тепло нагретой постели было божественным. Затем — это испортило все — он вспомнил, что первым уроком была алгебра с Джимбагом. Он содрогнулся. Эти жуткие квадратные уравнения! Джимбаг мог снова начать кричать на него. Это было нечестно, и он бы разревелся. Но потом ему пришло в голову, что Джимбаг не посмеет и пальцем тронуть его, памятуя о том, что произошло вчера. «Лошадиная Морда вел себя до неприличия положительно вчера вечером», — подумал он вновь.

Наступило время подъема. Раз, два, три — о, как холодно! Он только собирался натянуть сорочку, как кто-то осторожно постучал в дверь его спальни. Последнее движение, и его голова вышла на свет Божий. Он открыл. На пороге стоял Стейтс — ухмыляясь, но полный дружелюбия, хотя... Энтони растерялся. Не доверчиво, с неискренне приветливой улыбкой, он начал:

— Что случилось?

Стейтс приложил палец к губам.

— Сходи и посмотри, — прошептал он. — Выглядит бесподобно.

Энтони польстило приглашение со стороны того, кто, будучи капитаном футбольной команды, имел право (и пользовался им) быть грубым с ним.

Он боялся Стейтса и ненавидел его, и именно потому его особенно удивило то, что тот не

постеснялся прийти к нему в комнату по своему собственному желанию.

Комната Стейтса уже была полна ребят. Заговорщицкое молчание таило в себе бурное и поэтому плохо скрываемое волнение. Томпсону пришлось записать себе в рот носовой платок, чтобы удержаться от смеха, а Пембрук-Джонс корчился в беззвучных припадках хохота. Партридж, вклинившийся в узкое пространство между ножками кровати и умывальником, стоял, прижавшись щекой к перегородке. Стейтс коснулся его плеча. Партридж обернулся и вышел на середину комнаты; его веснушчатое лицо исказилось от ликования, он дергался и переминался с ноги на ногу, словно у него рвался мочевой пузырь. Стейтс указал на освободившееся место, и Энтони, потеснив остальных, занял его. В заградительной стенке была проделана дырка, и сквозь нее было видно все, что происходило в соседней комнате. На кровати в одной шерстяной фуфайке и бандаже лежал Гогглер Ледвидж. Его глаза за толстыми стеклами очков были закрыты, рот приоткрыт. У него был блаженный и кроткий вид, как у покойника во время отпевания.

— Он все еще здесь? — прошипел Стейтс.

Энтони повернулся с ухмыляющимся лицом и кивнул, затем вплотную прижался к глазку. Его особенно рассмешило то, что это Гогглер, школьный клоун, козел отпущения, которого слабость и робость заранее обрекли на гонения. Теперь появилась новая приманка.

— Давайте устроим ему темную, — предложил Стейтс, забравшись на перила в изголовье кровати.

Партридж, бывший центральным нападающим в лучшей из двух футбольных команд школы, сделал движение, чтобы последовать за ним. Но Стейтс повернулся, на этот раз к Энтони.

— Давай, Бивис, — прошептал он. — Давай вместе. — Он хотел вести себя полегче с беднягой из-за случившегося с ним. Кроме того, ему польстило то, что он сумел осадить этого оболтуса Партриджа.

Энтони принял лестное предложение почти с охотой и вплотную подошел к Гогглеру. Остальные толпились у изголовья. По сигналу Стейтса все выровнялись и, высунув головы из-за перегородки, загудели презрительно.

Гогглер снял напряжение сдавленным смехом; его зрачки расширились, полные ужаса, лицо на секунду сделалось белесым, затем вспыхнуло. Двумя руками он напялил на себя сорочку, но та была слишком коротка, чтобы прикрыть его наготу или хотя бы грыжу. До нелепости коротка, как детская фуфайка. «Попробуем сделать так, чтобы она прослужила еще один сезон, — говаривала его мать. — Эти шерстяные вещи ужасно дороги». Она пошла на огромные жертвы, чтобы отправить его в Балстроуд.

— Ну тяни же, тяни! — кричал Стейтс, полный сарказма и смелости от своих потуг.

— Почему Генрих Восьмой не позволял Анне Болейн заходить в свой курятник?⁴ — спрашивал Томпсон.

Конечно же, все знали ответ, и раздался взрыв смеха.

Стейтс поднял одну ногу с перекладки, стянул с ноги туфлю на кожаной подошве, прицелился и выстрелил. Она ударила Гогглера по лицу. Тот издал крик боли, выпрыгнул из постели, оставшись стоять с опущенными плечами, и тонкая, словно искалеченная рука поднялась, чтобы защитить голову. Он смотрел на ухмыляющиеся лица сквозь пальцы, закрыв появившиеся слезы.

74 — Сейчас достанется и вам, — прикрикнул

Стейтс на остальных. Затем, оглядывая только что пришедших, что стояли на пороге, буркнул, сбросив вторую туфлю:

— Привет, Лошадиная Морда. Подойди и пульни в него. — Стейс поднял руку, но Лошадиная Морда запрыгнул на постель и схватил его за запястье.

— Нет уж, стой! — сказал он. — Остановись.

Энтони взял за руку Томпсона и, опершись на плечо Стейтса, размахнулся так сильно, как только мог. Гогглер юркнул под кровать. Туфля ударилась о деревянное ограждение за его спиной.

— Б-бивис! — крикнул Лошадиная Морда с таким укором, что Энтони испытал внезапный приступ стыда.

— Ему это не повредило, а? — проговорил он, словно извиняясь, и по какой-то странной причине обнаружил, что думает о той страшной могиле на Лоллингдонском кладбище.

Стейтс вновь обрел язык.

— Мне непонятно, чем ты занимаешься, Морда Лошадиная, — разгневанно взревел он и вырвал ботинок из рук Брайана. — Почему не думаешь о своем деле?

— Это н-не ч-честно, — ответил Брайан.

— Именно честно.

— Пятеро на одного.

— Но ты не знаешь, что он сделал...

— Мне вс... не важно.

— Тебе было бы важно, если б было понятно, — отрубил Стейтс и принялся изображать преступления Гогглера во всех красках.

Брайан опустил глаза, щеки его внезапно покраснели. Когда приходилось слушать, как других обливают грязью, ему казалось, что обливают грязью его.

— Посмотри, как краснеет Лошадиная Морда! — крикнул Партридж, и все заверещали от смеха, не столь, однако, издевательского, как у Энтони. У Энтони тем не менее было время испугаться своего позора, время отказаться от мысли о том откосе на Лоллингдонском кладбище и время для того, чтобы вдруг почувствовать непримиримую вражду к Лошадиной Морде. За то, что тот был слишком необычным, ведь у него было мужество иметь свое мнение, только он не умел возвыситься до того, чтобы высказать его. Это произошло именно потому, что он любил Лошадиную Морду, одновременно чувствуя отвращение к нему. Или, скорее, потому, что было гораздо больше причин, по которым ему нужно было быть снисходительным к нему — так же мало причин, с другой стороны, почему Лошадиная Морда одарен всеми теми качествами, которые отсутствовали у Энтони полностью или частично. Этот внезапный истерический взрыв смеха был выражением какого-то завистливого негодования против гордыни, которую он любил и которой восхищался. На самом деле любовь и очарование подчас оборачивались протестом и завистью, но оставались, как правило, в глубине подсознания из-за тайной неопределенности, откуда внезапный кризис, подобный нынешнему, мог извлечь их.

— Видел бы ты его, — заключил Стейтс. Почувствовав себя в более благоприятном расположении духа, он рассмеялся — позволил себе рассмеяться.

— С его повязкой, — добавил Энтони тоном, полным тошнотворного презрения. Грыжа Гогглера представила Фокса еще большим преступником.

— Угу, с его дурацкой повязкой! — одобрительно подтвердил Стейтс.

— Он безобразен, — упорствовал Энтони, теперь несколько смягчившись и изображая праведный гнев.

В первый раз после того, как Стейтс начал свой рассказ о похождениях Гогглера, Брайан посмотрел ему в глаза.

— Н-но п-почему он б-безобразнее всех? — забитым голосом спросил он. — В к-конце к-кон-цов, — заговорил он громче, и кровь снова хлынула ему в лицо, — он н-не единственный.

Повисла двусмысленная пауза. Конечно же, таких, как Гогглер, было много. Беда была в том, что на него одного валились все шишки, и лишь из-за того, что он носил очки, грыжевой бандаж и футболку не по размеру, на единственного, кто не скрывал своих недостатков и подставлял себя под удар. В этом была вся разница.

Стейтс повел наступление с другого фланга.

— Проповедь святейшей Лошадиной Морды! — издевательски забубнил он и в одно мгновение завладел вниманием остальных. — Черт! — Его интонация резко изменилась. — Поздно уже. Отваливать пора.

Глава 7

8 апреля 1934 г.

ИЗ ДНЕВНИКА Э. Б.

Условный рефлекс. Какое безмерное удовольствие я получил от Павлова¹, когда впервые прочел его. Последний крест на всех самообманах человека. Все мы были нелюди да жители пещерные. Собака гавкает — вот обнюхала фонарный столб, подняла заднюю лапу, закопала кость в землю. Кончился весь этот бред насчет свободы воли, прописные истины и вся подобная шелуха. В каждую эпоху живут те,

которые будоражат умы. Ламетри², Юм, Кондильяк³, за ними всеми маркиз де Сад, последний и наиболее сокрушительный из всех революционеров мысли восемнадцатого столетия. Мало кто, однако, нашел в себе смелость последовать за скандальными доводами де Сада. Тем временем наука не стояла на месте. Просветительские взрывы и без де Сада потерпели крах. Деятнадцатому веку пришлось начинать все сызнова — и Гегелю, и Марксу, и дарвинистам. Маркс и до сих пор сильно осаждает наши мозги. Начало двадцатого столетия породило новое племя разрушителей — Фрейда и его продолжателей, и, когда они начали распространять свои законы замещения и вытеснения, появились Павлов и бихевиористы⁴. Открытие условного рефлекса, насколько я помню, как раз и положило конец всему. Хотя на самом деле он всего-навсего по-новому сформулировал учение о свободе воли. Если можно сформировать один условный рефлекс, то можно вместо него сформировать следующий. Научиться пользоваться собой правильно после того, как всю жизнь делал это шиворот-навыорот, что это, как не выработка нового условного рефлекса?

Обедал с отцом. Он гораздо бодрее, чем тогда, когда я видел его в последний раз, только сильно постарел и, кажется, рад этому. Гордится тем, что с трудом выбирается из сидячего положения и медленно, с остановками шаркает по лестнице. Может быть, это поднимает его в его собственных глазах. Видимо, он только и ждет сочувствия, приказывая, чтоб оно последовало по первому его желанию. Ребенок кричит так, что мать спускается и не находит себе места возле него. Такие вещи у особого рода людей происходят с пеленок до гробовой доски. Миллер говорит,

78 что старость — это скорее дурная привычка.

Привычка ставить всем условия. Расхаживай, словно страдающий ревматизмом, и действительно обречешь свое брненное тело на большие муки, чем раньше. Веди себя как старик, и твое тело постепенно одряхлеет, — ты и будешь чувствовать себя, как старик. Гоший Панталоне в домашних туфлях — вот самый подходящий для этого образ. Если откажешься и научишься мотивировать свой отказ, не превратишься в Панталоне. Я считаю, что это по большей части верно. Как бы то ни было, мой отец сейчас с удовольствием играет свою роль. Одно из великих преимуществ пожилого возраста то, что при условии сравнительно неплохой материальной обеспеченности и неподводящем здоровье можно позволить себе ханжеское добродушие. Переселение в мир иной не за горами, жизненные неурядицы не воспринимаются так близко к сердцу, как в юные лета, и вполне можно взирать на все с высоты Олимпа. Мой отец, к примеру, с поразительным спокойствием рассуждал о мире. Да, люди совершенно дичают, и Европу абсолютно точно ожидает новая война, около 1940 года, по его мнению. Будет, конечно, гораздо хуже, чем во время войны четырнадцатого года, и может статься, вся западная цивилизация окажется грудой пепла. Но так ли уж это важно? Цивилизация вновь станет развиваться на других континентах и заново поднимется на опустошенных пространствах. Юлианское летоисчисление давно пошло вкось. Нам нужно мыслить себя живущими не в тридцатые годы двадцатого столетия, а между двумя ледяными веками. В конце он процитировал Гете: *«Alles Vergangliche ist nur ein Gleichniss»**. И то, что

* «Все преходящее есть только символ» (нем.). Эти слова произносятся мистическим хором в финале «Фауста».

не вызывает сомнений, может считаться правдой. Но не обладает всей полнотой истины. Дилемма в том, как примирить убеждение, что мир большей частью — иллюзия, с тем, что не становится менее необходимым совершенствовать эту иллюзию? Как быть одновременно бесстрастным, но не безразличным, кротким и добродушным, как старец, и неумным, как юноша?

Глава 8

30 августа 1933 г.

— Куда бы деться от этих слепней! — Элен растирала покрасневшую руку. Энтони воздержался от замечаний. Она взглянула на него мельком, не говоря ни слова. — Как ты отошал за последнее время! — наконец произнесла она.

— Маниакальное самоизнурение, — ответил он, не опуская руки, которой закрывал лицо от яркого света. — Вот из-за чего я здесь. Предназначен самой природой.

— Предназначен для чего?

— Для социологии, а в перерывах вот для этого. — Он поднял руку, сделал ею круговое движение, после чего рука вновь упала на матрас.

— Что значит «это»? — не отступала она.

— Это?.. — повторил Энтони. — Ну... — Он замылся. Ему не хотелось говорить о принципиальном разрыве между разумом и страстями, отвлеченных чувствах, рафинированных идеях. — Ну, скажем, ты, — наконец проговорил он.

— Я?

— Ну, полагаю, это мог быть кто-нибудь другой, — сказал он, непритворно любуясь собственным цинизмом.

Элен тоже рассмеялась, но с горьким удивлением.

— Я — кто-нибудь еще?

— Это что значит? — грозно спросил он, посмотрев на нее из-под ладони.

— Значит то, что я говорю. Ты считаешь, что я должна быть здесь — истинная Я.

— Истинная Я! — издевательски повторил он. — Да ты рассуждаешь как теософ.

— А ты рассуждаешь как круглый идиот. Специально. Хотя уж ты-то неглуп.

Последовало долгое молчание.

Истинное Я? Но где, как и по какой цене? Да, прежде всего — по какой цене? Всякие Кейвелы и Флоренс Найтингейл¹. Но такое казалось абсурдным и вдобавок смешным. Она нахмурилась, потом покачала головой и, открыв глаза, подернутые пеленой, поискала ими какой-нибудь предмет в пространстве вокруг, который отвлек бы ее от бесполезных и навязчивых мыслей. Прямо перед ней сидел Энтони. Она секунду смотрела на него, затем с удивлением и неохотой подалась вперед, словно он был каким-то странным и невыносимо противным животным, и коснулась сморщенной розовой кожи, образованной шрамом, пересекавшим его бедро в дюйме или двух выше колена.

— Все еще болит? — спросила она.

— При быстрой ходьбе. И иногда в сырую погоду. — Он приподнял руку с матраса и, согнув правую ногу в колене, рассмотрел шрам. — След ренессанса, — задумчиво произнес он. — В виде гранатного осколка.

Элен вздрогнула.

— По всей видимости, это было ужасно. — Затем, с непонятно откуда взявшейся стра-

стью, выкрикнула: — Как я ненавижу боль! — В ее голосе слышалось яростное, глубоко личное негодование. — Ненавижу! — повторила она, чтобы все на свете Кейвелы и Найтингейл слышали ее.

Она снова заставила его думать о прошлом. О том осеннем дне в Тидворте восемнадцать лет назад. О правилах поведения во время бомбежки. О сумасшедшем новобранце, который недобросил гранату. Об истерике и панике в самом начале войны, первоначальном ужасе. Теперь это казалось поразительно далеким и несовременным, как некая звезда, разглядываемая не с того конца телескопа. И даже боль, не прекращавшаяся месяцами, теперь почти ушла в небытие. Физически это было самое худшее, и память его, как память безумца, уже почти избавилась от этих образов.

— Нельзя помнить боль, — произнес он вслух.

— Я могу.

— И ты не можешь. Можно помнить сам факт и то, что ему сопутствовало.

Тот случай произошел в родильной палате на Том-Иссуар, а сопутствовали ему нищета и унижение. Ее лицо исказилось при этих словах.

— То, как все было, ты никогда не будешь помнить, — продолжил он. — Ты даже не будешь помнить чувство наслаждения. Сегодня, например, ты не помнишь, что было полгода назад. И это к счастью. — Он улыбнулся. — Подумай, что было бы, если бы ты помнила запахи всех духов и все поцелуи. Какой унылой была бы жизнь. И есть ли на свете женщина, которую Создатель наделил бы как памятью, так и хотя бы двумя детьми?

Элен охватило волнение.

— Я не представляю, как все это вообще возможно, — тихо сказала она.

— Именно так, — утверждал Энтони. — Муки и наслаждения новы всякий раз, когда мы их испытываем. Свежи, как весенняя листва. Каждая гортензия, аромат которой ты вдыхаешь, есть первая гортензия в твоей жизни. И первое заключение под арест...

— Ты снова говоришь как идиот. — Элен сердито прервала его. — Запутался окончательно.

— Мне казалось, тебе становится яснее, — возразил он. — И все-таки чего ты от меня хотела?

— Я хотела, чтоб ты объяснил мне меня, себя, нашу жизнь, счастье. А ты разглагольствуешь как философ. Глупый как бревно.

— А ты сама? Совершила ты хоть один умный поступок? Специалист по счастью!

В этот момент в воображении обоих возник образ робкого человека в очках, из-за которых не было видно глаз.

Тот брак! Что в самом деле могло склонить ее? Старина Хью, конечно, был полон романтической любви, но достаточно ли этого? И в конце концов наступило разочарование. Прежде всего из-за разницы в возрасте. Он всегда горько усмехался, когда ему вспоминались их отношения с Хью. Уголки губ Энтони слегка подернулись. Для Элен, однако, последствия шутки могли оказаться роковыми. Он бы дорого дал, чтобы узнать все подробности, но через кого-нибудь еще, чтоб не принимать на себя роль хранителя ее тайн. Тайны были опасны, тайны опутывали ее с ног до головы, как паутина. Да, совсем как паутина.

Элен вздохнула, затем, расправив плечи, резко произнесла:

— Из двух петухов не сделаешь одного орла. Кроме того, это мое личное дело.

«Которое обернулось как нельзя лучше», — подумал он. Повисла тишина.

— Как долго ты провалялся в больнице после ранения? — Ее тон внезапно изменился.

— Почти десять месяцев. Было жуткое нагноение. Пришлось десять раз оперировать.

— Кошмар!

Энтони пожал плечами. По крайней мере, это уберегло его от военных окопов. Но по милости Божией...

— Странно, — произнес он, — в каком убогом обличье нас подчас посещает Господь! Блаженный идиот с ручной гранатой. Если бы не он, я бы в корабельном трюме отправился во Францию и подох бы там — почти наверняка. Я обязан ему жизнью. — Затем после паузы: — И свободой в начале войны. Где гарантия, что я пережил бы отравление газами, такое, как в Ипре? «Сошла на землю правда, Царь Царей». Ты, мне кажется, слишком молода даже для того, чтобы слышать о бедном Руперте². Тогда, в четырнадцатом году, это имя значило больше. «... Сошла на землю правда». Но он, однако, забыл упомянуть, что глупость сошла тоже. В больнице у меня было много времени, чтобы подумать о расширении империи на всю планету. Глупость сошла на землю, но не как царь, а как император, богоподобный Вождь Всей Арийской Расы. Мысль об этом отрезвила меня. Я почувствовал себя более здоровым и более свободным, чем был. И всем я обязан этому недоумку. Он был одним из верноподданных фюрера.

Опять помолчали. Голос Энтони зазвучал еще глуше.

— Иногда я нервничаю как Поликрат³, потому что в жизни мне слишком часто выпадало счастье.

84 Все будто специально складывалось в мою

пользу. Даже это. — Он дотронулся до шрама. — Может быть, мне стоит что-то сделать, чтобы успокоить зависть богов, — бросить перстень в море во время следующего купания. — Он слегка усмехнулся. — Беда в том, что у меня нет перстня.

Глава 9

2 апреля 1903 г.

Придя на Паддингтонский вокзал, мистер Бивис и Энтони заняли места в купе третьего класса и принялись ждать отправления поезда. Для Энтони железнодорожное путешествие до сих пор оставалось очень важным событием, почти священнодействием. Незрелый мужчина в душе всегда остается человеком *naturaliter ferrovialis**. Взять, к примеру, этого зеленого монстра, который медленно и важно подползал сейчас к первой платформе, — если бы не Уатт и Стефенсон¹, то это чудо технической мысли не выглядело бы так величественно под стеклянными сводами своего паровозного храма. Сама глубина восторга, который испытывал Энтони, вдыхая запах угля и горячего машинного масла, то непроизвольное желание, с которым его губы подражали звуку «чах-пах, чах-пах, чах-пах», говорили о том, что приход «Пыхтящего Билли» и «Ракеты» был чудесным образом предвосхищен неким прообразом локомотива, который существовал в душах мальчишек еще во времена палеолита. Чах-пах, чах-пах. Пауза, а потом душераздирающий свисток при выходе отработанного пара. Чудесно, здорово!

Две тучные невысокие пожилые леди в капорах и черных платьях, удивительно похожие на королеву

* Здесь: естественное движение (лат.).

Викторию, медленно проходили мимо, занятые поиском купе, где бы им не перерезали горло и не заставили слушать непристойности. Мистер Бивис, по их мнению, выглядел, видимо, безупречно. Они остановились, советуясь между собой, но Энтони, высунувшись из окна, скорчил такую рожу, что они поспешили скрыться. Он победно улыбался. Занять хорошее купе было одним из неперменных атрибутов священнодействия, именуемого путешествием. Если сравнивать путешествие с игрой в безик², то отделаться от случайного попутчика соответствовало марьяжу короля и дамы. Обед в вагоне-ресторане стоил столько же, сколько туз и король, — двадцать шиллингов. А двойной безик (хоть это Энтони никогда не подсчитывал) равнялся отцепному вагону.

Раздался свисток помощника машиниста, и состав тронулся.

— Ура-а! — закричал Энтони.

Игра началась успешно: в первом же раскладе оказался марьяж. Но через несколько минут Энтони уже жалел, что спугнул пожилых дам. Выйдя из отрешенной задумчивости, мистер Бивис наклонился вперед и, коснувшись колена сына, спросил его тихим, но невыразимо проникновенным голосом:

— Ты помнишь, какое сегодня число?

Энтони с сомнением взглянул на отца, затем попытался изобразить на лице тяжелую работу мысли, многозначительно нахмурившись. В отце появилось что-то такое, что делало эту игру неизбежной.

— Сейчас посмотрим, — неестественным тоном произнес Энтони, — нас отпустили тридцать первого, или нет, это было тридцатое? Тогда была суббота, а сегодня понедельник...

— Сегодня второе, — проговорил отец тем же самым проникновенным голосом.